



№ 2·1975 **ОГНИ**
КУЗБАССА

Игорь Киселев

МУЗЫКА НАШЕГО ДЕТСТВА

Музыка нашего детства.
Хлынет — и некуда деться.

Ночью в тревожном безлунье
Песню ведут голоса:
— Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа...

Напополам со слезами
Вспоминанья летят.
Бросив гармонь на базаре,
Плачет безногий солдат.

Пленные немцы картошку
Роют за нашим селом.
И под губную гармошку
Плачут о чем-то своем.

Музыка дальнего детства,
Вехи пути моего —
Самое лучшее средство,
Чтоб не забыть ничего.

День вспоминаю морозный.
Даль — вспоминаю — светла.
Вещий, торжественный, грозный
Марш расправляет крыла!

Музыка нашего детства,
Долгой и страшной войны!
Ты помогаешь взглядеться
В самое сердце страны.

Смолкли мелодии эти.
Музыка, ты не в ответе —
Новые песни нужны.
Музыка!..
Лишь бы на свете
Не было новой войны!

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ. ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 27-й



390353

№ 2(47) 1975

В Н О М Е Р Е

**П Е Р В Ы Й
Э К З Е М П Л Я Р**

**Репортаж
с великой стройки**

ЮРИЙ МОГУТИН. Там, на Байкало-Амурской 3

Проза

В. МАЗАЕВ. Грозовая аномалия. Повесть. 14
СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ. Верстак. Рассказ 83

Стихи

ИГОРЬ КИСЕЛЕВ. Музыка нашего детства 2
АНАТОЛИЙ ШИШКИН. Экзамен. «А вот ведь успело за-
быться» 82
ОЛЕГ МАКСИМОВ. Память детства. Откровение 85
ГАЛИНА ЗОЛОТАИНА. «У меня еще все в начале...». «Я
когда-нибудь тихо и просто...» 86

ВЛАДИМИР ИВАНОВ. На родине. «Как долго ждет природа обновления...». 86

**Из блокнота
журналиста**

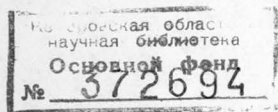
АНТОНИН БОГАЧУК. Ты помнишь, Мария... 87

**Прошел... Увидел...
Рассказал...**

РУДОЛЬФ ЛИХОМАНОВ. Таежные акварели: Парламентер. Борец. Соседи. Солдатка. Зазимье. Старики. 96
И. ТИМОШЕНКО. От имени поколения. (Тема Великой Отечественной войны в поэзии кузбассовцев-фронтовиков) 99

Веселая минутка

А. ПАРШИНЦЕВ. Симпозиум 107



Редактор **В. М. МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия: **В. М. БАЯНОВ, А. В. ВОЛОШИН, Г. А. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. В. МАХАЛОВ, О. П. ПАВЛОВСКИЙ** (отв. секретарь), **З. А. ЧИГАРЕВА, Г. Е. ЮРОВ**

Адрес редакции: 650099, г. Кемерово-99, Советский проспект, 94,
тел. 6-85-14

Рукописи не возвращаются

На обложке рисунок В. Кадочникова.

Ведущий редактор Л. В. Глебова; художественный редактор Г. И. Кравцов; технический редактор Г. В. Адова; корректор Е. И. Тимошук

Сдано в набор 22.I.1975 г. Подписано к печати 10.IV.1975 г. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 7,9. Уч.-изд. л. 8,51. Тираж 5000 экз. ОП00018. Заказ № 638. Цена 33 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5. Кемеровский полиграфкомбинат. Кемерово, Ноградская, 5

0 $\frac{0732-34}{M145(03)-75}$ 43-75

© Кемеровское книжное издательство, 1975

Юрий Могутин

ТАМ, НА БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ

Байкало-Амурская магистраль. Она пройдет по Иркутской, Читинской, Амурской областям, Хабаровскому краю, по Якутии и Бурятии. Ее строят русские, армяне, казахи, украинцы, татары...

БАМ — это младший брат Транссиба, второй (северный) путь к океану. Его протяженность 3145 километров — по вечной мерзлоте, болотам, через тайгу и горные кряжи. (Начальный участок БАМа — Тайшет — Лена (701 км) построен молодежью 50-х годов. Конечный участок — Комсомольск-на-Амуре — Совгавань (442 км) построен молодежью 40-х годов).

200 станций и разъездов, 3200 мостов, тоннелей и других искусственных сооружений. Одним из самых длинных в мире станет 15-километровый Муйский тоннель, прорубленный в скальных породах.

Восточно-сибирская тайга — необозримый океан. И люди пока еще робко жмутся лишь к самому краешку этого океана. БАМ — это дорога к сибирской деловой древесине и пушнине, дорога к якутским алмазам, золоту, углю, удоканской меди, к молибдену и вольфраму, свинцу и олову, нефти и газу. Это небывало трудная, но очень нужная дорога.

Но БАМ — это лишь начало. Потом от этой магистрали рельсы потянутся и к Магадану и на Камчатку. Они свяжут в один промышленный комплекс Комсомольск-на-Амуре, Сахалин, Курилы, Камчатку, Охотское побережье и Магаданскую область. Вот какую большую стройку начала наша страна. Такая стройка по плечу лишь народу-богатырю.

ПРАВО ПЕРВОЙ ТРОПЫ

Сто болот пересечь,
Сто хребтов перейти
И озяблыми пальцами-крючьями
Все до маленьких рек
На планшет занести,
Выбрать трассу для БАМа
Лучшую.

Москву основал Юрий Долгорукий, Киев — Кий, Рим основал Ромул, поселок Звездный на западном плече БАМа — комсомольская бригада Виктора Лакомова.

Молчала серьезная тайга, таежный десант выгружал из вертолета первые пожитки. И вдруг один из парней, приложив руки рупором ко рту, прокричал голосом вокзального диктора: «Уважаемые пассажиры! Поезд от станции Таюра на океан отправляется через восемь лет. Провожających просим выйти из вагонов».

И все обрадовались этой шутке и попытались остротами скрыть беспокойство при виде молчаливого царства нетронутой таежной глухомани.

А потом началась обыкновенная работа. Обычная работа в необычных условиях. Редки в тех местах деревушки, и живут они по своим таежным законам. Забрел медведь в хуторок — что за невидаль! Прилетел вертолет с геодезистами — диво дивное. Словно каменные истуканы, сторожат горные кряжи медвежьих глухие углы. Каменные осыпи, топи да чащоба ревниво охраняют подземные клады от вторжения человека.

Первые морозы. С каким нетерпением их ждали на трассе! Его Величество Мороз наводил мосты через самые гиблые топи. С наступлением морозов отпадала нужда перевозить все — от иголки до трактора — вертолетами.

И вот морозы ударили. В октябре наш земляк Вадим Худяков повел свой вездеход на разведку зимника. С ним отправились инженер-геодезист и проводник Макар Антипыч. Белоснежным горностаем едва приметно извивалась «чудница» — охотничья тропа. Проводник напряженным взглядом ощупывал чудницу, изредка бросая Вадиму короткое: «левее», «правее», «поубавь».

На душе у Вадима было радостно и тревожно. Он вел грохочущий вездеход легко, даже с лихостью. И с губ сама собой скрывалась песенка: «Ледяной потолок, дверь скрипучая...»

— Рано, однако, паря, песню играть зачал, — проворчал проводник.

Последний раз вильнув серебряным хвостом, чудница юркнула в низенькие кустики и пропала.

— Туды не лезь! Болото. Увязнем, — бросил Антипыч.

Долго искали обход, наконец, нашли место потверже. Вездеход, перемалывая траками лед со снегом и илом, проскочил гиблое место. Впереди замаячила таежная речка. Подъехали, остановились. Вылезли из машин, походили по речке — лед твердый.

— По коням! — закричал Худяков.

Сели в машину — и через речку.

На середине реки раздался оглушительный треск, и машина стала медленно и верно оседать. Зашевелился и двинулся по течению разрушенный лед. Река, словно спичечную коробку, закружила и потащила неуправляемую машину к водопаду. «Нырнешь — не воротишься», — так зовут местные охотники эту яму.

Еще миг, другой и...

Но тут вездеход тряхнуло и поставило на что-то твердое. Река перестаралась и вышвырнула машину на отмель. Вадим, высунувшись из люка, стирал со лба холодный пот. Геодезист и Антипыч обессиленно откинулись на сиденья. Вадим дал полный газ, и вездеход, взревев, проско-

чил месиво из льда и выскочил на берег. Натужно воя, машина одолевала крутой взлобок горы, почти вставая на дыбы. Визбравшись на перевал, остановились, огляделись. Вокруг — рваной медвежьей шкурой лежала дремучая нехоженная целина.

Геодезист делал пометки в планшете: река, брод, перевал, осыпь, болото, завал...

— Вот такая дорога, — раздумчиво проговорил проводник.

— Дорожка что надо! — ухмыльнулся Вадим. — Черт ногу сломит.

Дальше ехали тайгой. На каждом километре встречали их ветровалы — громадные стволы рухнувших деревьев. Тогда брались за топоры. Прорубали проходы в буреломах, работали до седьмого пота и кровавых мозолей. Внахлест цепляли трос за комли деревьев и оттаскивали их вездеходом с пути. Проезжали метров триста и — опять за топоры...

Где-то впереди уже виднелась просека, прорубленная летним десантом от Киренги. Ребята повеселели, Вадим прибавил газу. И вдруг страшный удар обрушился на вездеход. Полетели осколки ветрового стекла. Между водителем и геодезистом в кабине торчало корявое бревно. Проводник, у которого в двух сантиметрах от виска «прогулялось» бревно, сидел ни жив, ни мертв.

— Я пожалуй, ...того ...вернусь обратно, — произнес он одеревеневшими губами.

Битый час Вадим с геодезистом умоляли его ехать с ними дальше. Старик упорствовал: вернусь да и только. В ход были пущены все доводы и даже лезть: Вы мол, Макар Антипыч, таежник коренной, места эти знаете лучше, чем хозяйка посуду на кухне. Да и куда сейчас пойдешь, когда сумерки близко.

— Ладно уж, заночую с вами, а утром поверну к дому, — согласился, наконец, старик.

Остановились на месте старой гари. Запалили большой костер. Искры взлетали к самому небу, и огромный, выдавший виды чайник уютно заворковал. В отблесках костра вездеход, стоявший в сторонке, напоминал доисторическое чудовище. Всем троим было очень уютно у костра.

— А что, ребята, — заговорил вдруг Вадим, — разве это не счастье — прокладывать первую тропу? Вот, скажем, ты, Антипыч... Великое дело делаешь. Разведываешь путь, которым после пройдут сотни, тысячи людей, а потом полетят стремительные экспрессы. Ради этого стоит и в снегу ночевать, и в болотах вязнуть, и завалы до кровавых мозолей расчищать. Так ведь, Антипыч?

— Я-то что... — пробурчал старик, — моя прохвессия такая. Вас-то кто сюда загнал, в глушь эту? Не сидится вам в городе.

— Это уж ты точно сказал, не сидится, — засмеялся довольно Вадим. — И пока жив буду, буду проситься туда, где труднее и где я нужнее. Пресной мне кажется житуха без тайги.

— А я бы тоже в городе заскучал, — согласился вдруг Антипыч.

— Ну, вот и договорились! — засмеялся геодезист.

...Звездный встречал разведчиков, как всегда, весело и шумливо. Словно впервые, Худяков смотрел на табличку, прибитую к сосне у въезда в поселок: «Входя на БАМ», вытирайте ноги!» Смотрел на ребят, высыпавших гурьбой из столовой. Вот он — Звездный — его поселок. Поселок, построенный его руками.

ТАИНСТВЕННЫЙ ТОННЕЛЬ

А тайга пионеров
Встречает в штыки.
Хлеб застыл на морозе,
Как камень.
Это после о БАМе
Напишут стихи,
А пока мы их пишем
Кирками.

Москву основал Долгорукий, поселок Звездный Иркутской области — Виктор Лакомов с бригадой; серебряный костыль, от которого на север, к Тынде, потянулась от БАМа «железка», забил монтер-путеец Петр Тимофеевич Теребилкин...

...Есть в Хабаровском крае суровый хребет — Дуссе-Алинь. Высота его 2326 метров. И зияет в этом хребте тоннель. И не ведет этот тоннель никуда. Ни с той, ни с другой стороны не подходит к тоннелю железная дорога. Более четверти века лишь ветры проносятся по Дуссеалинскому тоннелю, дорог к которому нет. Так кто же и зачем прорубил его в скальной породе?

Вот уже более года со страниц газет и журналов не сходит слово БАМ. А многие ли знают, что это слово родилось еще в тридцатые годы? Все ли знают, что Байкало-Амурскую магистраль начали строить до Великой Отечественной войны?

И дорога БАМ — Тында, которая строится сейчас от Транссиба до линии будущего БАМа, была построена еще до войны.

Война ворвалась в нашу жизнь, в наши планы, и рельсы с построенной перед войною ветки БАМ — Тында разобрали и спешно перебросили в район Сталинграда.

С той самой ветки, что выводила строителей БАМа к Тынде, откуда удобно было врубаться в тайгу, на восток — к Комсомольску-на-Амуре, и на запад — к Байкалу.

И Дуссеалинский тоннель ведет в никуда потому, что он строился тогда для БАМа, но война грянула, и не добежали до тоннеля рельсы. Не довелось завершить дело в тридцатые годы начальнику строительства этой ветки, бывшему буденновцу Федору Алексеевичу Гвоздевскому.

Редко кого из первопроходцев БАМа тридцатых годов встретишь сейчас на «стройке века» — многих унесла война. Посчастливилось А. А. Побожью — одному из старых первопроходцев: он сейчас началь-

ник комплексной экспедиции и руководит изысканиями на Центральном участке БАМа. Многого могли бы рассказать старички: и как страдали зимой от стужи, а летом от гнуса и сырости, и как нянчили на руках рельсы — техники-то почти никакой не было.

Трасса БАМ — Тындинская — и сейчас одна из труднейших на всей магистрали: на пути 180-километровой ветки одних мостов предстоит соорудить 170!

Трудная ветка, но ведь и нужная. От Тынды на север пойдет ветка дальше — к Чульману, к якутским углям, алмазам, золоту; на запад пойдет дорога к меди Чары и Удокана, к кладовым железа Олекмы. Родится новый Алдан-чульман-удоканский территориально-производственный комплекс.

Пожалуй, нигде на земле нет более счастливого сочетания руд множества металлов с колоссальными запасами коксующихся углей — бери уголь и плавь в его огне руду! В Якутии есть и «съедобное» ископаемое.

Известно, что человек не может жить без поваренной соли. Без нее не могут обойтись ни домашняя кухня, ни крупная пищевая фабрика. На дальневосточные рыбные промыслы приходится издалека завозить сотни и тысячи тонн соли для засолки рыбы. А соль-то лежит совсем рядом — в Якутии. Ее тут столько, что не вычерпашь. В долине реки Олекмы многометровая толща ее выходит на поверхность. И она практически неистощима. По югу Якутии соль лежит каменными увалами, прямо наверху. И весь вопрос упирается опять-таки в строительство магистрали. Чем быстрее мы построим сюда дорогу, тем раньше эти сказочные богатства станут работать на нас.

В шестидесятых годах я в качестве корреспондента «Комсомольца Забайкалья» изъездил и исходил пешком будущую трассу БАМа от Бурятии до Амурской области. Разведанная Удоканская медь лежала «мертвым грузом» — она ждала, когда люди проведут сюда «железку».

БАМ должен преобразить «гнилые», «медвежьи» углы, где и поныне редко встретишь эвенкийскую или нанайскую деревушку.

Сегодня рождаются километры магистрали, рождаются будущие станции, имен у которых пока нет. Вернее, временно их зовут по названиям таежных речек, проток. А названия такие, что язык можно сломать: Беркакит, Воспорухан, Ургал, Этеркан, Кувытка. И что они означают, даже и местные-то жители не припомнят. Или возьмите станцию «Федькин ключ»... Кто был этот самый Федька, чтобы называть его именем станционный поселок — будущий город? Наверняка это был какой-то крепкий хозяйчик, бутаривший на ключе золотишко.

Потом, конечно, станции переименовуют и дадут им имена первооткрывателей, героев БАМа, но сделать это будет уже сложнее, поскольку названия сейчас заносятся на карты и в официальные документы.

СЕРЕБРЯНЫЙ КОСТЫЛЬ

Замирает этот хутор,
Отмирает.
Ты прости нам, Якурим,
Прости-прощай...
Костыли бригада в шпалы
Забивает —
Уж трехсотый от поселка,
Почитай.

Удивительные в этих местах лайки! Здоровущие, как волки, и шерсть у них настолько густа, что пальцы тонут в ней, не доставая до кожи собаки. Звероподобные существа!

Одна такая прижилась возле мостоотрядовского домика. Видно, прилилась ей по нраву хозяйки домика — веселые девчата, приехавшие на БАМ из разных городов Союза.

В небольшом домике контейнерного типа — три двухъярусные кровати на шесть человек, тумбочка с книгами, в углу весело и жарко полыхает печь. Из таких контейнерных секций можно составить дом на шесть человек, а можно и на шестьдесят. И даже двухэтажное здание можно смонтировать из таких же «контейнеров». В поселке строителей магистрали, к примеру, быстро соорудили большую двухэтажную школу. И ребяташки довольны: уютно и тепло в «контейнерной» школе.

У строителей мостоотряда № 5, возводящих мост через Лену, таких домиков десятки.

Чтобы соорудить мост средней величины, нужно прежде построить бетонный завод, нужны копры и подъемные краны, автомашины и, конечно, сотни рабочих рук.

Мост через Лену — первый на пути БАМа к востоку. Первый и один из самых крупных на магистрали.

Главный инженер мостоотряда Юрий Григорьевич Чепкасов охотно рассказывает о мостоотряде и его делах. Глуховато звучит его простуженный голос:

— Мы, мостостроители, народ кочевой. Мосты возводили, начиная от Калининграда и кончая Абаканом. На счету нашего мостоотряда их сотни. Построим мост, свортываем производство, собираем пожитки и — дальше. А вот в Абакане задержались. Много там было работы, десятки мостов на горных дорогах строили. Жили там шестнадцать лет. Многие из нас в Абакане квартиры получили, у многих дети в Абакане родились и выросли. Мы стали чуть ли не коренными абаканцами.

Однако пришло время и нам «напомнили», что мы — организация передвижная, мобильная. И вот мы здесь, на БАМе.

Первые мостоотрядовцы приехали на берег Лены в феврале 1974 года. Прежде чем строить мост, нужно было построить на новом месте базу: мехмастерские, бетонный завод и завод металлоконструкций. И, конечно, жилье для людей. Потому что в палатках в пятидесятиградусный мороз жить невозможно.

Природные условия здесь особые: резкие перепады температур,

сильные ветры. Поэтому пролетные строения для нашего моста изготавливаются из высоколегированных сталей, а опоры — из бетона особых марок.

Лена — строптивая река, до наступления ледохода нам надо успеть поставить все опоры. Иначе лед разрушит недостроенные быки. И не только поэтому торопимся мы «разделаться» с мостом через Лену, но и потому, что ждут нас другие мосты БАМа: через Киренгу, Витим, Олекму...

Мост через Лену сооружается неподалеку от хутора Якурима. Меня поразил вид этого отживающего свой век селения. На фоне могучих КРАЗов и экскаваторов, отсыпавших полотно для БАМа, хутор выглядел древним, усталым и каким-то придавленным.

Все объясняется просто. Якурим доживает последние дни. К нему вплотную подошло полотно магистрали. Пока строители не трогают хутор, но скоро придет черед снести его, а хуторянам переехать в современные удобные городские дома в Усть-Кут. Поэтому хуторяне уже махнули рукой на домашние свои дела: крыши у домов местами провалились, заплоты покосились, у хуторян «чемоданное» настроение.

Судьба старинного хуторка немного грустна, но в то же время завидна. Ведь именно у мостика через речку Якуримку шестого сентября 1974 года ветеран «Ангарстроя» Иван Жунин забил «серебряный костыль». Едва ветеран с одного удара вогнал «серебряный» в шпалу, как тут же грянул духовой оркестр. Музыканты играли, положив ноты прямо на рельсы и придавив их по уголкам галькой — чтобы ветер не унес. Под музыку переходил из рук в руки путевой молот с длинной ручкой: каждый забивал свой костыль. По костылю забили начальник «Ангарстроя» В. Бондарев, председатель дорпрофсожа И. Колпиков, начальник главка Урала и Сибири Минтрансстроя Н. Казьмин и веселые хлопцы из мостоотряда № 5. Отсюда на восток потекли рельсы БАМа. В день, когда был забит серебряный костыль, бригада путеукладчиков строительно-монтажного поезда № 288 Александра Дунина уложила первое звено рельсов. Так что уходящий в небытие хутор Якурим как бы знаменует собой рождение великого детища страны.

Я бродил между подслеповатыми домиками этого пристанища первопроходцев прошлого века. Он был нем и недвижим, и непонимающе глядел на гигантские КРАЗы, снующие по замерзшей пустынной Лене. Недалеке серебрились новенькие емкости нефтебазы. Вдали в Осетровском порту железными аистами торчали могучие краны — «альбатросы».

БАМ СТРОЯТ ВСЕ

Даже шаг не дается
В тайге без борьбы.
Здесь не жили до нас
Даже ссыльные.
Право трудной судьбы,
Право первой тропы
Достается
Лишь самому сильному.

Я возвращался в Усть-Кут поздно ночью в кабине грузовика. В темноте кабины тлел огонек папироски водителя.

— А ведь я ваш земляк — вдруг сказал он.

Саша Муратов — так звали шофера, приехал на БАМ из шахтерского города Ленинска-Кузнецкого. Отец Александра — заслуженный шахтер РСФСР, и сам Александр после армии работал электрослесарем в гидрошахте «Заречной». Вроде и заработки на шахте были приличные, а вот, поди ж ты, потянуло на БАМ.

Машина мчалась в кромешной тьме, выхватывая лучами фар то кусок ржавой скалы, то лесину.

— И сам уехал на БАМ, и дружка своего Николая Тимошкова, смайл с шахты. Вместе работаем в мостоотряде. В бригаде Виктора Скопенцова строили на берегу Лены жилье, столовую, детсад. Потом уж другие понаехали. Я тут и женился. Тоже на кузбассовке. Семейный я, значит, теперь...

В Звездном сейчас живет примерно около двух тысяч строителей. И эта цифра увеличивается с каждым днем. Люди все едут и едут. Едут коллективами и в одиночку. Все, или почти все республики отправили сюда своих посланцев. И каждый внес в жизнь стройки свой национальный колорит.

Рассказывают, что русская бригада Леонида Ивановича Плюснина прежде чем начать рубку просеки от Звездного до Лены, срубила — что бы вы думали? — Баню! Уж таков русский человек! Банька для него дороже всех других благ.

Баньку срубили и пригласили помыться своих таджикских друзей. И таджики не остались в долгу — отблагодарили их за баньку по-своему. Бригада Рахматуллы Хайруллоевича Бобобекова после мытья в бане устроила коллективное угощение таджикскими национальными лепешками. Лепешки эти так понравились бригадам на трассе, что их пекут и по сей день.

В Звездном рядом с плакатом «БАМ будет!» можно увидеть указатель «Грузия», или «Новосибирск». И это не просто шутка. Здесь представлены в миниатюре почти все республики и многие крупные города.

Возраст большинства жителей Звездного не превышает тридцати лет, а многим и меньше двадцати.

БАМ не обделен вниманием корреспондентов, артистов, композиторов, поэтов. В Усть-Куте, Звездном, Магистральном или Тындинском

вы можете нечаянно встретиться со звездой эстрады или столичным поэтом.

На БАМе любят и ценят хорошую книгу. Я видел, как усталые парни, придя с просеки, погружались со счастливой улыбкой в чтение. Читают здесь много, наверное, больше, чем где-либо. И великое дело делают школьники и студенты, собирая книги для строителей великой магистрали. На тумбочках у ребят в Звездном лежат книги, присланные новосибирскими и кемеровскими школьниками, студентами Украины.

КУЗБАСС — БАМу

БАМ строит вся страна. Это не красивая фраза — это действительно так. Алтайские и волгоградские тракторы, тюменские бетоносмесители, новокузнецкие рельсы, прокат, бурустановки, воронежские мостовые конструкции... Да простят меня те из поставщиков, кого я не упомянул здесь! Всех перечислить просто невозможно.

Кузбасс тоже строит БАМ. Строит с тех самых пор, когда магистраль века была объявлена ударной, комсомольской. И было принято специальное постановление Кемеровского обкома КПСС о вкладе трудящихся в строительство БАМа. В адрес обкома комсомола хлынул поток заявлений с просьбой отправить на самый трудный участок строительства магистрали. Кстати, таких заявлений в ЦК комсомола лежит сейчас 160 тысяч.

Одними из первых кузбассовцев на строительстве БАМа были ребята из строительного отряда «Титан» Сибирского металлургического института. Весь третий трудовой семестр бойцы «Титана» во главе с командиром Эдуардом Жеваго наводили мосты через ручьи на трассе БАМ — Тында.

Между прочим, в отряде было двое студентов географов-ботаников из пединститута. Они не только строили мосты, но и подготовили лекцию о флоре и фауне Приамурья.

Бойцы «Титана» навсегда увезли с собой воспоминания о трудной работе в тайге, о встречах с звенками и катаниях на оленях...

Высадка студенческого десанта была для кузбассовцев как бы пробным камнем на БАМе. А что же предстоит Кузбассу построить на «магистрали века?» — с таким вопросом я обратился к заведующему строительным отделом Кемеровского обкома партии Серафиму Алексеевичу Асташову. Вот что он рассказал:

— Многие области имеют на БАМе «свои» станции, которые они строят из своих стройматериалов и силами своих посланцев. Будет такая станция и у Кузбасса. Это станция Беркакит в Южной Якутии, неподалеку от реки Беркакитки.

Здесь, на вечной мерзлоте в якутской тайге нам и предстоит построить жилой поселок и само здание станции. Пока этой станции нет на карте, но пройдет время, и вырастет поселок с населением в несколько тысяч человек. Строительство поселка уже началось. По первоначальным наметкам проектировщиков он был рассчитан лишь на

полторы тысячи жителей, однако теперь стало ясно, что масштабы Беркакита должны быть иными. Ведь наша станция будет узловой, от которой рельсы потянутся на север — к золотодобытчикам Якутии, на запад и на восток — к рудникам и лесопромышленным комплексам.

Кузбассовцы построят в Беркаките комфортабельное многоэтажное жилье в северном исполнении, с улучшенной планировкой, детские сады и школу-интернат, клуб и общественно-торговый центр.

Значение этой станции еще и в том, что она будет расположена недалеко от крупнейшего Нерюнгринского угольного месторождения.

Перспективные запасы Южно-Якутского угольного бассейна оцениваются специалистами в 40 млрд. тонн. И на первом плане здесь стоит Нерюнгринское месторождение со средней толщиной верхнего пласта в 25 метров, в раздувах — вдвое большей, а под ними — два-три пласта меньшей мощности. Как и соседние залежи, с превосходными коксующимися углями, которые можно добывать открытым способом.

Пока здесь действует лишь небольшое стройуправление, добывающее 270—300 тыс. тонн угля в год на местные нужды. Затем будет организован крупный углестроительный комбинат, назначение которого — ввести в эксплуатацию громадный карьер ко времени ввода БАМа в строй. В 1984 году это месторождение, по предварительным подсчетам, будет давать 12 млн. тонн угля в год. За семь лет, с 1975 по 1982 год, здесь должен быть освоен 1 млрд. рублей капиталовложений.

Неподалеку от станции Беркакит вырастет город шахтеров Нерюнград (название пока условное) второй по величине после Якутска. В нем будут жить 50 тысяч человек. Генплан Нерюнграда подготовлен институтом Якутгражданпроект. Не удивительно поэтому, сколь велико значение станции, которую будут строить кузбассовцы.

Постройка станции Беркакит — дело чрезвычайной сложности. Вечная мерзлота, сейсмические колебания до 6—7 баллов, тридцатипятиградусная жара летом и шестидесятиградусный мороз зимой — вот далеко не полный перечень «сюрпризов», которые природа преподнесла проектировщикам и строителям Беркакита.

Разработкой проектной документации занимается институт Мосгипротранс. Он уже выдал исходные данные для проектирования поселка нашим проектным институтам — Кемеровогражданпроект и Кузбасскому институту инженерно-строительных изысканий. Сейчас сотрудники этих институтов работают непосредственно на площадке будущей станции. Задача у них нелегкая. В связи с мерзлотой и сейсмичностью почвы они должны найти такое место, где бы «коренная» скальная порода выходила на поверхность, и «посадить» будущий поселок на эту скалу.

Всего на строительстве Беркакита будут работать 600—700 кузбассовцев. Они войдут в состав строительно-монтажного поезда «Кузбасс».

Опыт создания такого поезда у кузбассовцев уже есть. Около десяти лет назад такой поезд — с добровольцами, техникой, инвента-

рем — выезжал из Новокузнецка в разрушенный землетрясением Ташкент.

Сейчас наши заводы стройиндустрии, металлоконструкций и другие готовятся к выполнению заказов для Беркакита. Полным ходом идет формирование поезда «Кузбасс». В нем участвуют наши крупные строительные и монтажные предприятия и подразделения Главкузбасстроя, комбината Кузбассшахтострой и треста Кузбассэнерго-строй. Треть состава строительно-монтажного поезда составят комсомольцы, направленные по путевкам обкома ВЛКСМ.

В период летних каникул на строительство Беркакита отправится и студенческий стройотряд.

Коллективам предприятий Кузбасса нужно отобрать, действительно, достойных людей из числа добровольцев для отправки на БАМ. Беркакит должен быть построен в течение пяти лет. Финансирует стройку Министерство путей сообщения, все остальное за нами: люди, механизмы, стройматериалы и прочее. Все — от гвоздя до бетонных перекрытий. Основной подрядчик в этом строительстве — управление Тында-бамстройпуть.

Нужно сказать, что строительство нашей станции, как и всего БАМа в целом, ведется в качестве шефской помощи. То есть оно выполняется предприятиями-поставщиками вне плана.

Есть одна особенность у этой стройки. Мы будем пытаться максимально использовать сборность конструкций. Это значит, что у себя в Кузбассе на заводах железобетонных конструкций мы будем изотавливать по возможности наиболее крупные и законченные блоки и конструкции домов. Это намного упростит задачу уникальной стройки. Останется лишь перевезти конструкции в Беркакит и собрать там почти готовые дома.

Мы надеемся, что кузбассовцы оправдают доверие народа и хорошо поработают на БАМе. Их дела должны подкрепляться четкой работой предприятий-поставщиков. Призыв комсомолки КМК «Заказы для БАМа — досрочно!» следует взять на вооружение всем, кто работает на магистраль века.

Декабрь 1974 г.

ст. Лена — пос. Звездный — пос. Магистральный — г. Кемерово



ГРОЗОВАЯ АНОМАЛИЯ

ПОВЕСТЬ

1

Рядом с парадной дверью в наше управление дыбится прислоненная к стене громадная глыба самородной меди; она живописна, эта глыба, покрыта, как старая икона, зеленой окисью, изрыта вязью раковин и трещин — следами жестоких внутриземных катаклизмов.

У непосвященного человека редкий самородок этот — весом более трех тонн — оставляет внушительное впечатление. Его непременно хочется потрогать руками. Мальчишки взбираются на него верхом, отчего края самородка залоснились. По вечерам в огнях пробегающих мимо автомобилей глыба вспыхивает матово-желтыми змейками, дрожит крыльями теней, становится похожа на панцирь какой-нибудь рептилии, какого-нибудь таинственного бронтозавра.

Но я при взгляде на трехтонную глыбу всегда усмехаюсь. Вспоминаю при этом моего друга и однокашника Броньку Афузова. Это его поисковый отряд обнаружил на Катыни медь. Найденный самородок с великой помпой привезен был в город и выставлен на всеобщее обозрение. Однако Катынское месторождение, выдав десятка два таких самородков, внезапно выклинилось, иссякло. Страсти утихли. А глыба так и осталась загадочно блестеть под восхищенными взглядами прохожих. Приехав однажды в управление, Бронька мрачно изрек: «Ишь, собаки, все мое месторождение выставили!»

Медь Броньки Афузова вошла у нас в поговорку. Когда в нашем кругу кто-нибудь пытался выдать желаемое за действительное, все дружно обрывали: «Э, понес Бронькину медь!»

Поднимаясь по ступенькам парадного и косясь на самородок, я подумал внезапно: а хорошо бы встретиться с Бронькой, полюбоваться на его утиную физиономию, выпить и потрепаться от души — последний раз мы виделись прошлой осенью. Я приезжал на два дня в город с отчетом, а он вызван был из тайги радиোগраммой: у него умерла дочка — сразу после рождения, он даже не успел увидеть ее. Броньке яв-

но не везло в жизни. Мы на пятнадцать минут зашли в управленческий буфет, сели за столик. Бронька отхлебнул из стакана, сказал, помаргивая маленькими глазками:

— Ты, наверное, подбираешь слова утешения, а я, ей-богу, спокоен. Ну как пенек. У нее даже имени еще не было. Но, может, я психически неполноценный? А, Только?.. Чего молчишь? — И через минуту сказал, шевеля бровями и отворачиваясь: — Вот Наташку жалко. Меня даже не пустили к ней, а завтра улетать.

2

Я толкнул высокую, в два человеческих роста, стеклянную сверкающую дверь. В коридорах управления сквозь окна пробивались дымчатые столбы солнца. Булькали по-лягушину батарее отопления. Отклеившиеся от рам полоски бумаги покачивались, как обезьяньи хвосты. Дорожка из цветного линолеума вспучивалась, неприятно хлопала. Чтобы не запнуться, надо было глядеть себе под ноги.

— А, дьявол тебя бодай! — крикнул вдруг кто-то в самое лицо так, что я вздрогнул. — На ловца и зверь бежит!

Передо мной стоял, расставив ноги, Вовка Канончик, собственной персоной — отглаженный костюм, стоптанные штиблеты, под тугим воротничком рубашки неожиданно чернел клинышек модного галстука.

Мы потискали малость друг друга, Вовка схватил меня за локоть, потащил в какую-то дверь, бормоча:

— Ты послан мне самой судьбой, садись сюда, за этот стол, читай. Да читай въедливо — с гневом и пристрастием, понял, таежная крыса?

Хлопнув по растрепанной пачке отпечатанных на машинке листов, испуганно посмотрел на меня: вдруг откажусь?

Я только что вылез из «газика», усталый, как ездовая собака (добирались всю ночь), был в рабочей куртке и свитере, к тому же небрит. И зашел в управление только для того, чтобы узнать причину вызова. Резон был решительно отказаться — железный я в самом деле, что ли? — но взглянув на уже обидчиво собранные толстые Вовкины губы, только спросил обреченным голосом, кивнув на гору листов:

— Что за макулатура?

— Моя работа по Топханскому хребту, — скромно сказал Вовка, ощупывая и поправляя воротничок.

— А где горит?

— Там! — Вовка крутанул пальцем в потолок. — Начальство требует срочно, прямо-таки с рогатиной подступает, а тут машинистки резину потянули, поцапались уже со старшей. — Наклоняясь ко мне и ставя локти на стол, он подергал манжеты рубашки, блеснули потрясающим цветом запонки. — Новенькая машинисточка появилась, ничего себе, представляешь, тут вот так, тут совсем наоборот, мордашка и вообще... Я уже коробочку над ней заложил.

Знал я за Вовкой слабость: неудержимое желание приболтнуть там, где дела его совершенно безнадежны. Поэтому я пропустил мимо ушей его последнее замечание, спросил:

— Зачем вызвали меня — не знаешь?

— Знаю, но по слухам. Послезавтра — большая говорильня, потребовали всех, кто хоть день рылся на Топханском хребте.

— Значит, и Бронька Афузов будет?

— Вероятно.

Я взглянул на Вовку более благосклонно.

— Что тут стряслось?

— Опять же по слухам: хотят ставить тяжелую разведку на железоз...

— Ты на слухи не ссылайся, — оборвал я. — Если потребовали твои материалы, ты, наверное, в курсе.

— Нынче мало быть в курсе, — сказал Вовка значительным тоном, — надо еще знать — куда курс...

— Сам придумал афоризм?

— Ей-крест! — рассмеялся Вовка. — Только что озарило!

— Ну ладно. — Я расстегнул куртку, подергал на груди свитер, мне становилось жарко. — Как твоя ртуть? Не забросил еще?

Вовка выпрямился, с крупными чертами лицо его поскучнело.

— Темна вода во облацех, Толик.

— Ну, а определеннее?

— Так нетути ее, определенности, — сказал Вовка расстроенно. — Сижу все в той же позиции... Да ты читай, — спохватился он, — мы еще отведем душу, читай, а я пока поброжу по коридорам. Попереживаю.

Вовка почтительно вышел; я, вздохнув, потянул к себе первую страницу.

Съемка Топханского хребта, которой Вовка занимался последнее время, была, честно говоря, не мед. Глухие высокогорные места, сплошной ковер дерна, отсутствие обнажений, сырая, набитая гнусом шорская тайга, суровые продолжительные зимы. Многие брались за этот район, но побившись и поломав голову, под всякими предлогами отступали.

Вовка не отступил.

Только мы, его друзья, знали, вернее, догадывались, какая сила удерживает его на Топхане.

Еще студентом, будучи на полевой практике, Вовка нашел на южных отрогах весьма слабые следы киновари — ртутной руды. Фактов у него было мало, почти никаких, но все равно отчет по практике он тогда нацарапал довольно решительный и толковый.

После окончания института он снова вернулся сюда и добился-таки постановки поисковых работ на ртуть, в границах Топханского листа. Он возглавил поисковый отряд и весь летний сезон мордовался в этом районе — и безрезультатно. Приказом по геологоуправлению работы ртутного отряда были прекращены. Вовка вынужден был заняться плановой и скучной съемкой.

Нынче он завершал и эту работу, и ему — я понимал — предстояло покинуть район Топхана. Тем самым надолго, если не навсегда, протиться со своей студенческой мечтой...

Прочитал я Вовкину работу не отрываясь и, как прежде бывало, по-

дивился и позавидовал его ясному и трезвому уму. Я позвал Вовку из коридора. Похвалу он выслушал невозмутимо, в лице его даже проступила легкая скорбь. Потом я сделал несколько замечаний. Вовка расцвел при этом, точно не критику выслушивал, а по меньшей мере, слова благодарности.

Удивительная Вовкина самокритичность проявилась и в другом: уже в машинописном тексте он изъясился из рукописи несколько страниц.

Заметил я это только потому, что нумерация — должно быть, в спешке — не была выправлена.

Я ткнул его в это место, Вовка чуть смутился (даже сейчас, спустя три года, я вспоминаю: точно, смутился!), однако тут же исправляя страницы, хохотнул и бросил несколько туманно:

— Не уверен — не обгоняй!

Что-то не нравилось мне в Вовкином поведении. Он был возбужден, в его голосе то и дело прорывались нотки какой-то веселой, что ли, нервозности.

Впрочем, сейчас, когда пишутся эти строки, я смотрю на все через грань уже совершившихся событий и невольно вижу то, чего, может быть, и не было в действительности. Мне неловко — видит бог! — от моей запоздалой проницательности. Я хотел бы изложить всю историю холодно и бесстрастно. Однако холодность и бесстрастность — достоинство судей. Я же ни в коем случае не хочу быть судьей. Этого еще не хватало!

Так что если моя объективность будет кой-где давать осечку, прошу помнить: я — живой человек.

Когда я уже уходил по коридору, противно хлопая линолеумом, Вовка крикнул вслед:

—Толик! Самое главное забыл сказать. Собираемся послезавтра у тебя!

Я приостановился. Что собираемся у меня — понятно. Я один из нашего круга имею в городе отдельную коммунальную квартиру. Но почему послезавтра?

— Во-первых, — пояснил Вовка, — послезавтра совещание, где мы все увидимся, а во-вторых... — он на секунду замялся, — во-вторых, приезжает моя Алиска.

Я кивнул, соглашаясь.

3

Была середина марта. У нас в тайге, откуда я только что приехал, — еще лежала снежная нетронутая целина, ночами дверь так примораживало к порогу, что приходилось скалывать топором, а здесь, на солнечной стороне улиц, уже дымились сухие пятячки асфальта, по ним сновали голуби, оставляя мокрые крестики следов.

Прохожие шли, распахнув плащи, наслаждаясь солнечным теплом, обходя голубей.

Все было обыденно и привычно, и я, слившись с толпой, снова по-

чувствовал себя горожанином, и тоже снял шапку, и шел, стараясь не вспугивать шныряющих под ногами доверчивых птиц. Тело мое, уставшее от теплой одежды и тяжелой обуви, исходило томительным зудом, и предвкушение горячей ванны было столь велико, что я не выдержал, прибавил шаг.

Несколько лет назад, окончив институт, покинул я этот город, в котором родился, но до сих пор от города не отвык, и когда в редкие наезды прохожу по знакомым улицам, мне становится легко и празднично. И если прохожий спрашивает меня, как пройти туда-то и туда-то, я с удовольствием объясняю. Наивная гордость при этом распирает мою грудь: во мне все еще видят горожанина!

Взбегая на четвертый этаж, заходя нащупываю в карманах ключ и, обливаясь потом, нетерпеливо отмыкаю дверь. Вхожу в прихожую, сдерживаю дыхание и уже чувствую — моих нет. Ветка, наверное, в школе, у нее часы с утра, а Данилка — в садике.

Не раздеваясь, медленно опускаюсь на стульчик (на нем обувается Данилка), прислоняюсь спиной к стене. В квартире тихо, где-то за стеной играет радио; вызванивая, капает вода. Я сижу минуту, другую в сумрачной прохладе прихожей. Глаза мои скользят с предмета на предмет — вяло, умиротворенно.

Под тумбочкой, у самой стенки, красные рукавички с дыркой на большем пальце («Данилка! Не смей грызть рукавичку!»). Лежат они аккуратно, непохоже, что завалились случайно. Задумываюсь над этой странностью и вдруг догадываюсь: конечно же, это Данилкина работа. Не хотел надевать рукавички и спрятал!

Я представил, как он с хитрой мордашкой следит за мамой, пока она тщательно бьется в поисках («Когда тебя приучу класть вещи на место, бяка такая!»). И потом, торжествуя в душе, потопал в садик без рукавичек — добился-таки своего!

Да, это мой Данилка и моя Ветка; и это мой дом, в котором я бываю так редко.

Я далеко не сентиментален, но сейчас по-настоящему растроган, и сижу, сгорбившись на стульчике, почти физически ощущая, как входит в меня мир моего дома.

Именно — мир моего дома, думаю я, и эти слова сейчас не кажутся мне высокими, я даже произношу их вслух, но голос мой в отстоявшейся тиши комнат звучит до странности неуместно. Будто я бросил в водную гладь нечаянный камушек, и тот мгновенно сломал отраженные в ней предметы.

Потом неторопливо снимаю рубашку, нахожу чистое полотенце, включаю воду. Пока ванна заполняется, я босой брожу по комнатам, подошвы липнут к полу, ноги мои криво, текуче отражаются в полированных боках мебели; трогаю корешки книг, стучу ногтем по фарфоровому носу балеринки, потом ложусь на разостланную среди пола медвежью шкуру.

Надо мной тяжело нависает великолепная, вся в льдистых подвесах, многорожковая люстра. Бумажный самолет-стрела застрял в развилке рожков, и я, глядя на стрелу, начинаю вдруг тихо ощущать, как

гаснет во мне умиротворенность моим домом, уступая место реальной действительности.

Взгляд мой вяло скользит по комнате, но ощущения покоя во мне уже нет. Все это — и блестящая люстра, и широкий, набитый стеклом сервант, и скатанные в рулоны ковры по углам, и червенно поблескивающие по стенам, со вкусом подобранные офорты, и шкура, на которой я возлежу, и сама квартира наконец, — все это не мое, не наше с Веткой приобретение.

Есть у нас хорошие знакомые — муж и жена Дергачевы, оба геологи, признанные специалисты. В позапрошлом году уехали они по контракту во Вьетнам и, зная, как мыкаемся мы по частным углам, поручили нам свою квартиру. Первое время мы радовались, точно дети; три года, отпущенные нам, казались бесконечными.

Но однажды — случилось это в один из моих коротких приездов с поля, — войдя в квартиру, я застал такую картину: сидят мои Данилка и Ветка и режут в два голоса. Оказалось, Данилка, заигравшись, проехал экскаватором по блестящей крышке какого-то там секретера. Ветка в сердцах отшлепала его и тут же сама ударилась в слезы. Потом скатала все ковры, в кладовой нашла чехол от пианино, и всю доступную мальчишке полировку укрыла ватманом и газетами. Данилка со свойственным его возрасту темпераментом лез во все щели. Жизнь среди чужой полированной мебели стала и для него, и для Ветки сущим мучением.

Я приподнялся, сел, обхватил колени, потом сильно потер лицо, под ладонями заскрипела щетина. Тотчас же до моих ушей донеслось, как в ванной призывно гремит, скрежещет вода.

Уснул я на тахте. Засыпая, я мычал от наслаждения, слыша, как твердая простыня студит кожу.

Проспал я бесконечно долго, и пробуждение было мгновенным — отчего-то мягко ударило сердце. На краешке тахты сидела Ветка — в пальто, в косынке, завязанной у горла.

Холодок поцелуя дрожал в уголке моих губ.

Комната уже тлела сумерками, и Веткино лицо, обращенное в сторону окна, слабо светилось.

Я просунул ладони под ее густые теплые пряди.

— Надолго? — спросила она.

— Дня на три, не больше.

— Нет бы сказать: не меньше!

— Да, не меньше.

— Даже не предупредил, жулик.

— Только вчера эрдэ пришла, — сказал я.

Ветка сдернула одной рукой косынку, на мгновение прижалась ко мне, вздохнула:

— За Данилкой надо. Кто ходит, может, ты?

— Конечно, — сказал я и поднялся.

— Тогда я мигом в магазин. У меня же в доме ничегошеньки...

Спустя два дня, вечером, мы принимали гостей.

Первыми пришли Афузовы, звонок деликатно звякнул и затих. Бронислав был в блестящем реглане с поясом, кепке-конфедератке и походил на коммивояжера преуспевающей польской фирмы; в этом одеянии я его видел впервые. На Наташе была короткая меховая шубейка и здорово молодивший ее грубой вязки красный капор. Несчастные роды и болезнь оставили свой след; Наташа осунулась, в лице ее еще сохранилась нездоровая бледность.

Потом шумно ввалились, толкая друг друга, чета Канончиков — Вовка и Алиса.

Я и Бронька Афузов женились с запозданием — после института. Студентами мы не были даже знакомы со своими будущими женами. Алиса же училась вместе с нами и с Вовкой, на том же факультете. Уже по окончании четвертого курса мы гуляли на их студенческой свадьбе, а после распределения все четверо оказались в одном геологическом управлении, хотя и в разных экспедициях.

Вовка еще в студенческие годы стал грузноват, тяжел, занимался классической борьбой, Алиса — узкоплечая и стройная, с тонкими чертами маленького лица, на которое падало крыло льняных волос — рядом с ним выглядела совсем подростком. Мы так и звали эту пару: лиса Алиса и кот Базилио.

Когда они вошли, я стоял в прихожей и предупреждал загробным голосом:

— Обувь скидывать! Окурки о мебель не гасить! Книг не воровать!

Алиса, поцеловав меня в щеку и с треском расчесывая перед зеркалом короткие свободные волосы, кокетливо вопрошала:

— А на пьянине можно поиграть?

— Да, можно. Только мысленно!

Вскоре жены удалились на кухню — обменяться новостями и заодно помочь моей Ветке приготовить на стол, а мы — Бронька, Канончик и я — быстренько опрокинули по рюмке, расселись в углах комнаты и вдруг замолчали.

Бронислав курил, сосредоточенно пуская кольца, пытаясь попасть кольцом в кольцо. Канончик, щурясь, рассматривал офорты. Я, нечаянно усевшись на россыпь Данилкиных солдатиков, выгребал их теперь из-под себя и не спеша выстраивал на подлокотниках кресла.

Я знал, о чем сейчас думает Бронька, думал, что знаю, о чем думает Канончик. Часа четыре назад закончилось совещание, и поводов для размышлений, особенно для нас с Бронькой, было более чем достаточно.

Председательствовал на совещании главный геолог управления. Это был рыхлый, уже в годах мужчина, рыжеволосый; седина пучками как-то пробивалась сквозь густую желтизну шевелюры. Несмотря на рыхлость, главный был довольно подвижен. Руководя совещанием, он почти не сидел за столом, его пятнистая крупная голова мелькала в разных концах кабинета. Задав вопрос, он почти вплотную подходил к

отвечавшему и слушал, глядя тому прямо в переносицу. Следовал новый вопрос — и главный катился в противоположный угол. Для участников совещания было довольно утомительно вертеть головой, но главного уважали, мирились с его странностью, — да и что за начальство, если без странностей, особенно в геологии.

Сначала главный коротко и сухо сказал о важности Топханского железорудного месторождения. Если подтвердится его промышленное значение, это будет самая близкая сырьевая база для Сибирского металлургического завода. Потом он попросил высказаться собравшихся.

Как и при обсуждении всякого сложного вопроса, столкнулись самые противоречивые мнения. По рукам ходили геофизические карты Топхана, разрисованные густыми струнами изолиний...

В общем, я совсем не хочу углубляться в техническую сторону дела. И заговорил я о совещании только с одной целью: рассказать, как держал себя на нем Вовка Канончик.

Уже в конце второго часа дебатов главный геолог вдруг пристально поглядел в нашу с Вовкой сторону, сказал:

— Товарищ Канончик, я посмотрел ваш отчет... Может быть, я невнимателен, но я не нашел в нем ваших соображений о природе Топханской магнитной аномалии.

Вовка сидел чуть впереди меня, он неторопливо поднялся и довольно-таки спокойно ответил, что стоявшее перед ним задание такого вопроса не содержало.

— Ваше задание, насколько я понимаю, не содержало и вопроса о так называемой Топханской ртути. — Главный уже передвигался по кабинету в нашу сторону, голос его окреп. — Но вы же о ней, как всегда, не умолчали!

Вовка Канончик — находчивый, дьявол! — бровью не повел и тут же отпასовал:

— При следующем чтении, Андрей Михайлович, вы можете это место пропустить — как всегда.

— О! — главный даже приостановился. — Люблю злые ответы, они взбадривают. Но мы несколько отвлеклись. Все же я надеюсь — у вас сложилось свое мнение по Топханской аномалии?

— Разумеется, — сказал Вовка.

— И вы можете его высказать — хотя бы устно?

— Разумеется! — Вовка был воплощением корректности.

— О! — снова сказал главный, склонив к плечу свою пятнисто-рыжую шевелюру. — Прекрасно, мы все — внимание.

— Я добросовестно слушал выступления моих товарищей, которых я уважаю как специалистов, — сказал Вовка. — Но я уже как-то говорил и буду повторять впредь. Ответ, сопровождаемый словечком «предположительно» — не ответ, а уход от ответа. Нам хочется невинность соблюсти и капитал приобрести! — Вовка энергично ударил ладонью по спинке стоящего впереди стула. — Что бы сказать: мое мнение — руда есть. И подтвердить фактурно. Или наоборот: руды нет. И тоже привести подтверждение. Ведь третьего в нашем деле не дано! Уверен, что будь так — мы бы не толкли воду в ступе.

— Прекрасно,— перебил главный,— ваша теория категоричности любопытна. Проиллюстрируйте ее, пожалуйста. Целесообразно ставить на Топхане тяжелую разведку на железо или нет?

Вовка стоял ко мне спиной, я не видел его лица, его глаз и очень сожалел об этом. Вернее — я жалею об этом сейчас. Опять же сейчас! Тогда, кажется, я просто слушал Вовку и потихонечку гордился им: знай наших!

— Да или нет? — повторил главный.

— Так Андрей Михайлович! — Вовка неожиданно расмеялся. — Как говорили древние: не пихай под гору — которое катится!

— Простите! — главный уперся взглядом в Вовкину переносицу. — Простите, но на сей раз наши мыслительные колебания не совпали, я вас не понял.

— Я к тому, что давайте обратимся к геофизическим материалам. Сгустки изолиний бьют по глазам. Ей-богу, но взгляните, Андрей Михайлович, на пики аномалий в восточной части листа — это же поистине бьют Лолобриджиды...

— Гм! — оторопело сказал главный.

Присутствующие оживленно задвигались. Вовка, не смущаясь, переждал веселый шумок, продолжал:

— Кто-нибудь может вразумительно объяснить иное — немагнитовое — происхождение этих аномалий? Нет? Так в чем же дело? Неужели мы, Андрей Михайлович, имея такие геофизические данные, сможем спокойно спать?..

Ну и так далее и тому подобное. Выступал Вовка одним из последних, и так получилось, что слово его оказалось как бы решающим.

После совещания главный попросил меня и Броньку Афузова держаться. И здесь только стал я потихоньку догадываться, для чего, собственно, вызвали меня. Запоздалая догадка моя тут же подтвердилась.

Я получил предложение возглавить организуемую вновь Топханскую поисково-разведочную партию. Старшим геологом партии был назначен Бронислав Афузов.

Пусть меня простит сегодня Бронислав, но в ту минуту я покривил душой. Было намерение, но у меня просто не повернулся язык в присутствии Броньки отклонить его кандидатуру и предложить Вовку Канончика. Я недоумевал, почему руководители управления прошли мимо Канончика, когда речь шла о Топхане, на котором он собаку съел. Мне даже стало обидно за друга. Потом я решил: верно, Вовкину светлую голову приберегают для более важных дел, и понемногу успокоился.

5

...Так мы сидели втроем и молчали, и на подлокотниках моего кресла шеренгами стояли солдатики; я машинально стал пересчитывать их, и в этот момент Вовка сказал:

— Когда у меня появится собственная квартира, я не буду разве-

шивать по стенам столько художественного железа. Хотя железо я люблю, только в форме чеканки. У меня будет японский принцип: на одну стену — одна картинка, но зато какая!

Бронька широко развел руки, показывая:

— Такая?

— Вот они, ценители искусства! — Вовка вздохнул огорченно. — Ты в своем лесу дрова такими жестами меряй. Я любитель миниатюры. — Он снова мечтательно сощурился. — И заведу запасник. Дважды в одну и ту же квартиру вы в гости не придете.

— Спасибо, — сказал Бронька, — утешил.

— На здоровье. Я же сказал: заведу запасник. И буду регулярно менять экспозицию. Это единственный путь убежать от стандарта планировки.

— А мебель сделаешь на колесиках, — подсказал Бронька. — С моторчиком.

— Если понадобится что передвигать, у меня теща как ДТ. — Вовка снисходительно усмехнулся. — Но я отмечаю этот примитивный путь. Мебели у нас с Алиской не будет. Нет, то есть она будет, конечно, только в самом зачаточном количестве.

— Одна единица на одну комнату, — снова поддакнул Бронька, методично выдвывая к потолку кольца.

— Странно, но ты прав, — согласился Вовка. — Именно — единица на единицу. Долой деспотизм вещей! А то взгляните на эту люстру — под ней жить боязно. Это не люстра над тобой висит, а строгий выговор с занесением.

— А украшать свою квартиру детьми ты тоже будешь по японскому принципу? — поддержал этот треп и я, удивляясь тому, что ребята, оказывается, совсем не думают о том, о чем думал я.

— О да! Одна ребенко-единица на квартиру — это щас так модно!

Вошла Алиска, услышав последние слова, хлопнула в ладоши.

— Мальчики, мальчики, моду не трогайте, это наша тема. Что вы рассиживаетесь, как на приеме. Где стол, где скатерть, а ну, мигом раздвигать. Толик, — обратилась она ко мне почтительно, — хрусталем, — она ткнула пальцем в горку, — мы можем, извините, попользоваться?

— Можно, — сказал я, — только одноразово.

— Ну, разумеется, кто же вторично пользуется осколками!

— Язва ты, Алисанька, — сказал я, — займем чужое, потом распоряжайся.

Наонец все было готово, и мы рассредоточились за столом, на котором среди нашей ширпотребской посуды сверкали чужие хрустальные рюмки и высилась роскошная хрустальная чаша, приспособленная под салатницу. Ветка еще раз три вскакивала: то погасить верхний свет (для интима, пояснил я), то поставить на тихом звуке пластинку (чтобы заглушить чавканье, снова пояснил я), то сбегать в соседнюю комнату и убедиться, что Данилка спит. Но и эти ее хлопоты иссякли. Мы подняли рюмки. Вовка торжественно сказал:

— Не того ради, чтобы напиться, а того ради, чтобы не забыть, как это делается!

Вовка не поднял тоста за наши новые назначения не потому, что мы с Бронькой еще ничего не сказали своим женам (пусть они узнают все завтра, сегодня обойдемся без излишних волнений), а потому, что мы в нашей компании вообще воздерживались от провозглашения серьезных тостов. Это был наш скромный вклад в борьбу с фальшью застольных деклараций. Чаще всего говорили какую-нибудь чепуху вроде той, которую только что изрек Вовка, или ничего не говорили.

Мы также никогда не садились рядом со своими женами, а жены никогда не контролировали нас и не одергивали: тебе хватит, оставь, как ты домой пойдешь и т. п. Жены наши были умницами: они хорошо знали своих мужей. И еще лучше знали: если хочешь возвращаться из гостей трезвым, лучше не ходи туда вовсе. Мы, мужчины, высоко ценили дух демократизма и личной свободы за столом и старались этим не злоупотреблять.

Последний раз все вместе мы собирались ровно год назад — (в прежние годы нам удавалось это чаще). Тогда, я помню, Наташа ждала ребенка, была на третьем или на четвертом месяце, и я накануне по настоянию моей Ветки обегал все магазины, специально для Наташи искал сухого вина. В конце концов пришлось идти в ресторан и там, пережив минуту унижения, выпрашивать у официантки «на вынос» бутылочку несчастного «диаманта». К сегодняшней нашей встрече сухое вино добывал Вовка: у него появились знакомые в нашем геологическом орсе. А заодно он добыл килограмм парниковых огурцов и баночку тресковой печени — успехи его на этом поприще были для нас неожиданностью.

Старая компания наша болтала и шутила за столом, дурачилась, рассказывала анекдоты и тут же, посмеявшись, забывала их, а я глядел на всех с растроганностью слегка хмельного человека и думал: хорошие вы ребята, подлецы вы этикие, остряки несчастные, и девчонки у нас подобрались на все сто, страшно представить, что могли быть не они, а другие.

Вот напротив меня сидит Наташа, мелкими глотками попивает вино, не отрывая бокала от губ. Круглое лицо ее покраснелось, бледности как не бывало, и если кто-то особенно удачно острит, она смеется, стукнув о бокал зубами.

И улыбка ее, и серые глубокие глаза — само воплощение доброты. Доброты и какой-то материнской, что ли, снисходительности к нам, ее друзьям и друзьям ее мужа. Она младше и моей Ветки, и Алисы, но смерть ребенка словно в чем-то приподняла ее над ними.

Когда Бронька впервые пришел с Наташей к нам, я, откровенно говоря, не очень ему позавидовал. Ну, девушка как девушка, все на месте, впрочем, губы могли быть не такими полными и росточка не мешало бы прибавить. Да и тугая прическа, натянувшая виски, больше бы подошла строгому и тонкому личику, нежели ее округлым щекам

с крохотными улыбочными ямочками, точно вдавленными острием карандаша. Хотя я тогда уже имел для себя вывод: за классическими формами красоты чаще всего кроется душевная схема (этот глубоко-мысленный вывод я дарю всем тем, кто моложе меня...)

Первый же год замужества будто высветил изнутри Наташино лицо. Вместо вороха заколок и шпилек-невидимок, которые все равно были видны, она стала пользоваться одной простенькой резинкой или ленточкой. Искусство естественности — большое искусство, а косметика хороша та, которая незаметна. Это наблюдение я стал считать своим с тех пор, как убедился в его справедливости.

Рядом с Бронькой Наташа выглядела его сестрой, хотя в их внешности не было ничего схожего. Если не считать полноты, которая стала преследовать Наташу и которая уже подбиралась к крепкому и костистому Броньке. Впрочем, говорят, все любящие супруги со временем становятся похожими друг на друга. Бронька стал со вкусом одеваться, причем, мне кажется, незаметно для себя — в этом я усматривал Наташкино влияние. Уж я-то, слава богу, знал Броньку-студента, ценителя мод, не видевшего разницы между однобортным костюмом и двубортным.

Ах, Наташка, Наташка, какая ты молодец, что нашла моего друга Броньку. Смотри, даже его утиный нос стал ему к лицу. Люблю я вас обоих, черти, но никогда, конечно, не скажу. Ибо, как однажды изрек Вовка, высказанная любовь — это бремя, если ее не разделили.

На свою Ветку я, как тайный любовник, гляжу незаметно, украдкой. Любоваться в компании своей женой — это уж такой сентимент, что дальше некуда. Для жены не подходит слово «красивая». Все-таки в этом слове есть холодок. И отчужденность. Пусть красивыми будут чужие жены, для своей мы отыщем словечко теплее: любимая...

Черт возьми, я давно уже сижу и не пригубляю рюмки, а сентиментальность так и прет из меня, и душа тает как воск, с чего бы это? А тут еще Вовка сел за пианино и заиграл что-то невразумительное, но все равно трогательное, маэстро несчастный.

Ветка сидит ко мне бочком. Желтые свободные волосы легли на плечо, сквозь пряди видна мочка уха с блестящим камешком. Никто не знает, как мягки эти волосы и какой неповторимый вкус остается от них на губах...

6

Что за ерунда? Я сижу не шевелясь, а в руке моей вдруг оказывается наполненная рюмка. С удивлением смотрю на нее. И тут же обнаруживаю, что рядом со мной сидит Алиса, привалившись ко мне плечом. Смеется довольная, что так ловко вложила рюмку в мою руку.

— Ау, Толик, лапочка, где ты?

В самом деле, что со мной нынче? Я торопливо выпиваю рюмку, и, пользуясь этим, крепко зажмуриваюсь. Потом оборачиваюсь к Алисе и улыбаюсь ей, как ни в чем не бывало. Она пристально смотрит мне в глаза:

— Ага, тебя гнетет бремя нового назначения.

— Гнетет,— говорю я.— Вовка проболтался?

— Толик, разве ты забыл, что я тоже имею какое-то отношение к системе геологии?

— Ну, Лисанька,— говорю я ей в тон, укоризненно.— Ты же была в нетях, а вопрос о назначении решался только сегодня.

Алиса ложится щекой на мое плечо, вздыхает.

— Пора бы тебе знать, лапочка: такие стратегические вопросы никогда не решаются сегодня, они решаются далеко вчера.

Алиса в нашем кругу выступает как разрушительница многих традиционных условностей. Она может, когда ей вздумается, обнять любого из нас и даже поцеловать в щеку или просто, как вот сейчас, потереться мордашкой о твое плечо. Мы все к этому привыкли, — а почему бы нет? — и жены наши смирились, зная, что вне их глаз Алиса ничего подобного не позволяет. Вовка сперва дулся, а потом махнул рукой: Алискина непосредственность доконала и его.

— Ну чего молчишь? — укоризненно толкает она меня. — Пригласил в гости — и молчит. Скажи еще что-нибудь, можно не обязательно умное.

Я наклоняюсь к ней и произношу проникновенным шепотом:

— А жена его Алиса — замечательная крыса.

Алиса смеется.

— Девочки, мальчики! — кричит вдруг она и хлопает в ладоши. — А Толик сейчас объяснился мне в любви. С ума сойти!

— Причем стихами, — поддакиваю я.

Никто нас не слушает, гремит радиола, все танцуют. Ветка — с Брониславом, а Наташа — с Канончиком. Канончик демонстрирует класс, он без фрака, в широких манжетах рубашки яростно сверкают запонки.

Все-таки он безнадежно толстеет, мой друг, и грациозность его подобна грациозности троллейбуса на поворотах. И слегка выпирающий плафончик живота тоже еще ни к чему в его двадцать девять. Как он ухитрился нагулять его в полевых маршрутах — уму непостижимо.

Мы танцуем какой-то умопомрачительно медленный танец. Алиса прижимается ко мне, чуть подчеркнутые ресницы ее вздрагивают. Даже сквозь платье я чувствую ее горячее тугое тело, но меня это не волнует. Хотя танцевать с молодой стройной женщиной приятно, кто спорит.

Тут я хочу признаться.

У нас с Алисой есть одна общая тайна. Для людей семейных и положительных, каковыми являемся мы, она, эта тайна, незначительна, даже ничтожна. Не стоит выведенного яйца. И все же в иные моменты, в такие, например, как сейчас, я вспоминаю об этой тайне, и тут же по глазам Алисы вижу; она догадалась, где побывало мое воображение.

Приехав однажды из тайги, я, как всегда, открыл своим ключом квартиру и еще с порога услышал — в ванной шумит вода. Дверь в ванную была приоткрыта (при мне Ветка всегда запирается). Ага, не ждала, с удовлетворением подумал я и, разувшись, тихо пошел к приоткрытой двери, в предвкушении веселой, с бурным протестом сцены.

В ванне под душем стояла Алиса, отфыркиваясь и оглаживая ладо-

нями грудь, плечи (Канончики жили на частной квартире без ванной). Она стояла вполоборота и сразу увидела меня. Улыбка, предназначенная Ветке, еще сияла на моем лице — представляю, каким оно было дурацким!

Если бы Алиса как-то прореагировала на мое вторжение — ну, присела бы там, заверещала, задернула целлофановую шторку, обругала меня в конце концов, я бы тут же повернулся и вышел — ну в самом деле, кто мог ожидать! Но Алиса даже не повела бровью, только слегка повернулась корпусом: завидное самообладание! А я в ответ вынул пачку сигарет и, опершись о косяк, стал закуривать. Надо же! Глупо это у меня получилось и развязно. Я выронил сигарету и тут же поднял и даже стал раскатывать, хотя сигарета уже была мокрой и не годилась.

— Ну и что? — наконец произнесла Алиса тихо, вызываясь, продолжая оглаживать свое блестящее в струях воды тело.

— Запираться надо, вот что! — бросил я и, выйдя, с демонстративным стуком притворил дверь.

Через полчаса вернулась из магазина Ветка. Мы втроем сидели за столом, пили чай, и Алиса, поглядывая в мою сторону, посмеивалась, а я злился: на себя — за свою сигарету, на Алису — за эту ее ироническую улыбку, на Ветку — за то, что не вовремя ушла из дому, забыв предупредить Алиску. Хотя знала, что я приезжаю...

Музыка умолкает, женщины берутся за хлопоты вокруг стола, обновляют его, а мы — нам жарко! — устремляемся на балкон, предвзвистливо с треском отодрав заклеенную на зиму дверь.

Балкон завален хламом — сломанной мебелью, мешками, цветочными ящиками. Расчищаем себе местечко, облокачиваемся о барьер, тесно, плечо в плечо.

Вечерний воздух свеж, даже морозен, приятно охлаждает лицо, грудь, щекочет в горле. Вспыхивает и гаснет на автоматическом реле световая реклама, блики ее масляно дрожат на выложенном колесами асфальте. Внизу, прямо под нами, шаркают подошвы, стучат каблучки, слышен смех — рядом молодежное кафе, это оттуда.

Наискосок через улицу пятиэтажный дом с въездной аркой. Облицовочная плитка напоминает кольчугу. Две чугунные пушки на каменных лафетах охраняют один из парадных входов. Здесь краеведческий музей. Я с детских лет знаю историю этих экзотических пушек.

В довоенное время они стояли на стенах Кузнецкой крепости, до сих пор возвышающейся над междуречьем Томи и Кондомы. В первый грозный год Отечественной войны, когда наш металлургический завод стал ощущать нехватку сырья, кто-то распорядился снять пушки и отправить на переплавку. Некоторое время платформа с пушками — их было десятка полтора — стояла в тупике железнодорожной станции, рядом с нашим домом. Потом кто-то спохватился и принял мужественное решение — старинные пушки не уничтожать (в то суровое время это было действительно мужественное решение), резонно заключив, что история наша не кончается.

Чугунные туши пролежали под насыпью до конца войны, обросли бурьяном. Лежали они и несколько послевоенных лет — не до них было. Когда однажды мы, мальчишки, зарядили одну из пушек порохом, забили кирпичом и выстрелили, перепугав железнодорожный персонал и перепугавшись сами, о пушках вспомнили и увезли куда-то. Вскоре две из них я увидел у дверей городского музея. Стволы на всякий случай были заклинены.

Но это не вся их история, особенно для меня. Одному из моих друзей детства, Шурке Багринцеву, страстному патриоту родного края, закономерно ставшему историком, пришла мысль: пушки не были привезены из России, а отлиты здесь, на месте, из металла, выплавленного кузнецкими татарами (как в дореволюционные времена звали шорцев). Он даже добился лабораторных анализов, которые якобы подтвердили его версию. Потом я уехал учиться в институт и потерял Шурку Багринцева из виду.

Свой первый самостоятельный полевой сезон я провел в Горной Шории, в бассейне реки Мрассу. Однажды в маршруте я наткнулся на остатки какого-то старого очага. Каменные развалины, пропитанная древесным углем почва, тяжелые лепешки шлака — я как-то сразу решил: древняя плавильная печь. Смутило меня только то обстоятельство, что если это печь, то почему она так далеко от реки, в глухом мало-доступном месте.

Я вспомнил о Шурке — его эта находка, вероятно, осчастливила бы. Я поставил на карте крестик. У меня мелькнула мысль: встречу Шурку или услышу о нем — подарю ему карту. Может быть, сей крестик станет началом его ученой диссертации, чем черт не шутит.

Все это я бегло рассказал своим друзьям, стоя на балконе, откуда прекрасно были видны пушки — наглядная иллюстрация моего рассказа.

Внизу шумела молодежь, из дверей кафе вырывалась музыка. Мне показалось, Бронька и Вовка Канончик больше прислушиваются вниз, где в пятнах света то появляются, то исчезают нарядные длинноногие девушки, чем к моему малосвязному рассказу. Я умолк, и тут Канончик вдруг сказал:

— Толик, извини, но ты меня умиляешь. Какой великолепный жест — подарок крестика для исторической диссертации!

— То есть? — не понял я.

— Если бы твоя находка случилась не в первый год самостоятельной работы, я бы завтра же поставил вопрос о твоём увольнении из системы геологии.

— Ого! — сказал я, не понимая, всерьез он говорит или так зло шутит.

— Не ого, а точно. Ну ты пойми истину. Разыщет твой патристичный Шурик по твоему крестик у эту самую плавильную печь. Напишет прекрасную диссертацию, в которой докажет, что еще триста лет назад воеводы Кузнецкой крепости лили для себя пушки из металла, который выплавливали аборигены. Это будет еще одна прекрасная, но никому не нужная диссертация.

— Прекрасное не может быть ненужным, — буркнул я.

— Может, Толик, может. А вот то, что ты нашел печь, но глянул на нее не глазами геолога, а глазами прекрасногодушного краеведа, это, извини, выше моего понимания. Кстати, печь в глубине тайги — это скорее всего укрытие от сборщиков ясака, читал где-то.

— Ладно, — отмахнулся я, — знаю, что ты имеешь в виду. Раз есть печь, значит, должна быть руда.

— Именно. Не думаешь же, что аборигены возили руду на тачках с Алтая.

— Не думаю, — сказал я. — Но, во-первых, это случилось в конце полевого сезона, а во-вторых, о печи я упомянул в своем отчете...

— Который спокойно почивает на полках архива управления, — язвительно закончил мою тираду Канончик.

— Может, почивает, а может — нет. Ты же знаешь, в бассейне Мрассу сейчас найдено несколько рудопроявлений магнетита.

— Но не тобой же!

— Какая разница, — сказал я. — Дело сделано, а это главное.

— Чепуха! — зло сказал Канончик. — Или ты меня разыгрываешь, или в самом деле ты простак. Можешь меня обвинять в чем угодно, но в нашем деле не мечтать о первооткрывательстве, значит, публично признаваться в своей посредственности и серости.

— Благодарю, — уже не сдерживая обиды, сказал я. — В нашей системе, да и в других, работают тысячи, а открытия делают единицы. Что же, всем этим тысячам серых и посредственных застрелиться?

— Нет, не надо стреляться, — сказал снисходительно Канончик. — Вот ты, я считаю, только из чувства ложной скромности не стал в ряды единиц. И ведь не только себе сделал хуже, но и делу. Если бы ты проявил инициативу, магнетит, возможно, найден был бы в бассейне Мрассу на несколько лет раньше. Глядишь — и государство в выигрыше, и ты на коне.

7

— Ребята, ребята, — Бронька Афuzов, стоявший между нами, не выдержал: у одного его уха бубнил я, а у другого — Канончик. — Зачем эти скучные идейные разногласия? О роли личности в истории мы еще в школе проходили.

— Проходили, да не прошли, — оборвал Канончик и снова ко мне. — Твой друг детства, который историк, свихнулся, наверное, пока узнал происхождение вот этих мортир. Лучше бы он направил энергию на то, чтобы узнать имя человека, спасшего их в войну от мартенов. Человек остался безымянным, а он, если разобраться, сделал в историю края вклад больший, чем все твои кандидаты краеведческих наук, вместе взятые. Он в самом деле, как ты изволил сказать, герой. Мама рассказывала: в войну старушка соседка не отдала пионерам на лом медный самовар. Старушку вызвали к следователю. Это, конечно, глупая крайность, но ведь в самом деле суровое было время, без сантиментов.

Я подумал вдруг о Вовкиной потерянной ртути, но у меня хватило здравого смысла промолчать. Все-таки то был случай более высокого порядка, чем моя пресловутая печь с ненайденным по моей неопытности выходом магнетита. И потом: Вовка, на мой взгляд, сделал все, что было в его силах, исчерпал все сто процентов своих возможностей. И подковырнуть его сейчас, поймать на слове было бы, ей-богу, свинство.

Вовка между тем размитинговался не на шутку. Он уже говорил не более не менее как о счастье, обращаясь при этом к Броньке. И так громогласно, что внизу останавливались, задирая головы, прохожие.

— Самое идеальное счастье, — вещал Вовка, — складывается из сугубо земных предметов, как то: любимая женщина, увлекательная работа, возможность видеть иногда ваши алкогольные рыла, благоустроенное жилье — что там еще?

— Исправный холодильник, — подсказал Бронька.

— Да, и исправный холодильник. По форме, правда, вульгарно, а по существу тоже правильно. Тебе, лесной бродяга, разве понять...

— Послушай, Вовка, — перебил его Бронька и оглянулся на балконную дверь, понизил голос: — Промеж нами, конечно, скажи: ты изменял жене?

Но Канончик наш был не из тех, кого можно смутить неожиданностью вопроса. Он ответил:

— Я изменю жене только при одном условии: если встречу женщину лучше ее.

— Неужели до сих пор не встретил?

— Почему же? Встретил, — сказал Вовка.

— Ну и что? — с притворным интересом посунулся к нему Бронька.

— А ничего, — сказал Вовка. — У нее как раз муж оказался лучше меня!

Мы все трое рассмеялись. Я подумал: все-таки умница Вовка, хотя во всех его предыдущих рассуждениях мне что-то активно не нравилось. Именно «что-то», чего я не мог уловить.

— Смотрите, ребята, классическая сцена, — проговорил вдруг Бронька, указывая куда-то вниз.

На высветленном квадрате мостовой, прижавшись спиной к столбу, стоял парень в белом расстегнутом плаще. Полукругом его обступили четверо: двое долговязых в одинаковых спортивных куртках и двое низеньких — тоже без верхней одежды; все они вышли из кафе, конечно же, «выяснить отношения». Они еще не распалили себя, чтобы вплотную подступить к парню в расстегнутом плаще, и каждый из них по очереди делал выпад то рукой, то ногой. Обороняющийся по возможности отбивался, но по всему было видно: его дело худо.

— Эй, мужики! — крикнул Канончик, перегнувшись с балкона. — Совесть у вас есть — четверо на одного?

— Не возникай, папаша, — ответил один из них, оглянувшись. — Иди лучше бай-бай. Сами разберемся! — и крепко пнул парня.

Это уже можно было расценить как вызов.

— А ну, братцы, — Канончик решительно повернулся, толкнул дверь. — Пошли разьясним этой шпане кодекс чести.

— Пошли!

Мы пробежали мимо уже вновь накрытого стола, мимо недоумевающих женщин, прыгая через три ступеньки, сбежали вниз, на мостовую. Увидели: один из долговязых, подкравшись сзади, обхватил и прижал голову паренька к дереву, а остальные пинали его — расчетливо, жестоко.

Канончик сразбегу ударил ближайшего так, что тот покатился по асфальту, стуча, будто сложен был из деревяшек. Но тут же, к удивлению, вскочил и кинулся на Канончика. Мы прикрывали друга сзади, уверенные, что спереди Канончик неуязвим: все-таки недаром он занимался в институте борьбой. Схватка наша была короткой и яростной. Все четверо один за другим убежали за угол, хрипло матерясь и сплевывая.

Канончик подошел к пареньку, который продолжал стоять у дерева, точно загипнотизированный нашей дракой. Был он совсем молоденький, лет шестнадцати. Из разбитого рта текла кровь, он стирал ее частыми нервными жестами.

— Между прочим, друг, — сказал Канончик, тяжело переводя дыхание, — в твоём положении не грешно бывает и удрать.

Паренек в ответ только всхлипнул.

— Да, да, это говорю тебе я, старый потасовщик, — добавил Канончик, ловя обшлаг рукава с оборванной запонкой.

Вовка никогда в жизни не дрался. Это я знал точно. Но сейчас он говорил так убежденно, что я усомнился: черт, а может, я его плохо знаю и он в самом деле дрался?

Когда мы уже зашли в подъезд, и Канончик медленно, шагами крепко поработавшего человека, поднимался первым, Бронька вдруг сказал ему в спину:

— Вот чего еще не хватало в твоей формуле счастья.

— А ну-ка, чего? — приостановился тот.

Бронислав поднял палец.

— Возможности бить морду хамству!

— И получать по своей? Нет, на это дополнение я не согласен, — хмыкнул Канончик, прикладывая к шее платок: все же его ухитрились чем-то царапнуть.

8

В последних днях мая мы летели вертолетным десантом на один из гольцов Топханского хребта.

От Кузнецка было всего около часа лету, но я успел задремать, и летчики разбудили меня, чтобы выбрать место высадки.

Последние полтора месяца были для меня заполнены организационной беготней. Сметы, ордера, накладные, чеки, всевозможные реестры и расписания — все это ливнем обрушилось на меня, и я с утра до вечера то бегал по этажам управления, добросовестно таская в зубах

бумаги, то пропадал на складах базы, отсортировывая спецодежду, инструмент, материалы, то сидел в геологическом отделе, зарывшись в карты и схемы месторождения — вникал в будущий фронт работ. Пришлось даже побывать в областном центре, взять в управлении лесного хозяйства облисполкома разрешение на вырубку леса на площадях разведки.

Но в общем-то, благодаря личному указанию главного, мне везде по возможности шли навстречу. Однако и при этом накладок и неувязок было хоть отбавляй.

Я так издергался за эти полтора месяца, что сел в машину с чувством величайшего облегчения, хотя умом понимал, что трудности мои только начинаются.

На куполе облюбованного нами гольца еще лежал снег, как, впрочем, и на всех других. Он был, по всей видимости, не глубок, но садиться на него было все равно рискованно. Летчики подвесили машину, и мы сначала выпихнули в двери груз, потом попрыгали в снег сами и лежали, не подымаясь до тех пор, пока МИ-4, грохоча и давя нас воздушной струей, не взмыл вверх.

Вместе со мной высадились шестеро рабочих. Из пары лыж мы соорудили нарты и, сложив на них тяжелый груз — бензопилу, плотницкие скобы, канистры, палатки, кинув за плечи рюкзаки, стали спускаться вниз, в распадок.

Снег вскоре кончился, последние сотни метров мы шлепали по какой-то болотистой каше, тащили нарты по острым свалам камня, сдирая с лыж стружку, и остановились у слияния двух ручьев, заросших бородатым пихтачом и березами.

Здесь было место будущего поселка, и здесь нам, семерым, предстояло соорудить посадочную площадку и расчистить подходы к ней.

Погода была пасмурная, промозглая, того и гляди пойдет дождь со снегом. Рабочие, не мешкая, принялись за наше палаточное жилье, а я отошел на берег ручья.

С высоты, когда мы облетывали территорию, горы не казались такими крутыми, а распадок таким глубоким. Теперь же, снизу, распадок наш напоминал длинное широкое ущелье со слегка развернутыми бортами.

Прямо напротив, через ручей, начинался склон гольца Заповедного. Он был градусов пятьдесят, не меньше и закрывал полнеба. На одной из террас его, на высоте почти полутора тысяч метров, нам предстояло монтировать первые вышки.

В двух-трех местах редкая шуба пихтача была до самой подошвы словно прокошена гигантской косой. Я знал, это следы снежных весенних обвалов. Это было совсем худо. Коварный обвал может в один прекрасный момент перекрыть ручей, и поселок окажется в воде. Значит, нужны дополнительные профилактические меры.

Но в основном место для поселка было сносное: в клинышке между двумя ручьями разрослась куртина пихтача и рябинника. Я никогда не видел таких высоких рябин. Конкурируя с пихтами, рябины тянулись вверх, тонкие и ровные, как радиоантенны. И только на самой макушке

выкидывали широкий зонт ветвей, уже взявшихся зеленым дымком листвы.

Несмотря на весенний паводок, вода в ручье была прозрачной, шумела и горбилась в каменном ложе. Я прошел немного вверх и по упавшему через ручей дереву перешел на другой берег.

В тени пихт сквозь сырую хвою просунулись зеленые тычки высокогорного папоротника. В этих тычках—я знал—уже покоились туго скрученные в спираль, готовые к активной жизни листья. Еще день-два — и тычки лопнут, спирали листьев раскрутятся. И папоротник, как в сказке, за одну ночь вырастет на полметра, а то и выше. Удивительно изобретательна природа!

Я ходил по площадке будущего поселка, трогал ладонью глянцевиные прохладные стволы рябин и уже мысленно намечал: здесь встанут жилые дома, здесь, ближе к ручью, мехмастерская, а тут, на пригорке, контора партии или школа. У нас будут семейные, и школа (начальная, конечно) потребует непременно.

Неужели, подумал вдруг я, здесь, в этом диком распадке, куда даже шорские охотники вряд ли забирались, скоро будут бегать дети, ночами засияет электричество, загудят дизеля и запахнет свежеспеченным хлебом?

В предыдущую свою партию, работавшую по фосфоритам, я пришел, как говорится, на готовенькое. Поселок стоял, работа двигалась, и на приемку дел у меня ушли всего сутки-двое. И хотя многое мне в поселке не нравилось — даже общественный туалет был поставлен без учета розы ветров! — я уже ничего не мог принципиально изменить.

Здесь же, на Топхане, я начинал с абсолютного нуля. Передо мной был чистый лист, и как заполню его я, таким он и останется на долгие годы, а может, навсегда. Пихты и ели, эти прибежища гнуса, спилим и выкорчует, а молодые березы и рябины оставим, пусть украшают поселок.

Я даже немного взволновался, присел на кочку, закурил. Как-никак я первый ступил на эту площадку.

А что, в самом деле? Чем черт не шутит, пока бог спит. Разведая промышленные запасы, будет рудник, руда во как нужна Сибирскому заводу. А там глядишь — и город. Здесь будет город заложен! И заложил его я, Анатолий Михайлович Овчинников, скромный советский человек, каких тысячи. Впрочем, нет, тут же поправился я, конечно, не тысячи, значительно меньше. Всякому ли в тридцать лет доверят такую ответственную партию, как Топханская? С нами на первую высадку напрашивался лететь фоторепортер местной газеты, а я отказал, мотивируя тем, что нам дорог каждый килограмм груза. Зря отказал!

Каюсь, никогда не страдал я излишком честолюбия. Но сейчас, сидя в гордом одиночестве на моховой кочке и глядя на растянувшийся подо мной затаеженный распадок, жадно куря, я дал волю этому сладостному, кружащему голову чувству.

Мне уже не сиделось на кочке, хотелось вскочить, бежать в лагерь, схватить пилу и, чувствуя в плечах радостную дрожь ее мотора, самому валить эти сырые, в бородах лишайника дряхлые пихты (и непременно

сохранять стройные рябинки!), корчевать взрывчаткой пни, расчищать плацдарм для поселка. Моего поселка!

В эти минуты для меня не существовало трудностей, которых бы я не смог преодолеть. Как жаль, что нет сейчас рядом со мной моей Ветки и Броньки Афuzова, оставшегося в городе в качестве нашего толкача, нет его тихой Наташки, и язвительного умницы Канончика, и Алисы, его экзальтированной женушки, тоже нет.

Я бы сейчас не постеснялся при них произнести торжественный тост даже за себя, вернее — за нас с Брониславом, кинувшихся очертя голову в это никому не ясное до конца предприятие, каковым является всякая тяжелая разведка.

Святое неведение молодости! Благодаря тебе сделаны величайшие технические открытия, исследованы земли, созданы шедевры искусства. Если бы я хоть в смутных видениях представлял, что ждет меня, мой поселок и всю налаживаемую мной здесь разведку, я бы по крайней мере не сидел так долго на сырой кочке, обуреваемый честолюбивыми мыслями будущей личности.

Со мной была полевая сумка. Я вынул планшет-двухкилометровку, сориентировал на местности, стал на глазок прикидывать возможные трассы дорог к месторождению, мосты через ручьи и т. п. Мне не терпелось хотя бы грубо определить объемы предстоящих работ.

Но многое с моей кочки заслонялось деревьями, и я решил подняться повыше.

Я шел, мало-помалу остывая от того будоражащего и пьянящего чувства, которое только что бушевало в моей груди. Под сапогами хрустели тычки папоротника. То и дело приходилось перелезать через завалы деревьев, где от гниющего корья пахло скипидаром и густо висели бледные, спирохетические корешки неведомых мне трав. Пихты стали редеть, появились каменные проплешины с красными пятнами накипного лишайника.

На самом пригорке росли низенькие, угнетенные высокогорьем елочки, а вся земля была усыпана синими лапками кандыка, желтыми свечками медвежьей пучки. Представляю, какое разливается буйство цветущих трав здесь в середине короткого лета!

Я сел на выступ кварцитовой плиты и, оглядывая окрестности, стал не спеша доставать из сумки планшет.

Глаза мои еще скользили машинально по открывшейся панораме: острым макушкам пихт, по языкам курумника, уходившим к заснеженным вершинам, по серебристой ленте неслышимого отсюда ручья, — а мной уже овладевало странное ощущение, как бы перед неизвестной, но неуловимо приближающейся бедой. Что-то я видел минуту назад, но настолько неправдоподобное, что глазам не поверил, посчитав за игру природы. Я вскочил, уронив планшет, огляделся. Что я видел?!

Стояли елочки, одни тесно, другие поврозь. Маленькие, в рост человека. В ветвях прыгала птичка с белыми щеками — что искала? Косо дыбились, словно выломанные челюсти, коренные выходы кварцита.

Я отступил на несколько шагов, снова всмотрелся. Нет, не отсюда, я здесь не проходил. Отошел правее, где, придавленные моими сапогами, вздрагивали, распрямляясь, какие-то стебельки.

Продвигаясь вправо, я уже вспомнил, что я видел, и тяжело, устало пошел к елочкам.

В глубине их, на совершенно ровном месте, возвышалась надмогильная пирамидка. Снизу была она придавлена камнями, а сверху ее венчала звездочка.

Пирамидка была с железными грубыми швами, и звездочка тоже из железа и приварена чуть косо. Щедро разлившаяся ржавчина на фоне красных накипных лишайников делала пирамидку едва различимой. Ни надписи, ни какого знака — столько лет прошло, что может тут сохраниться?

Я несколько минут оцепенело стоял над безымянной могилой. Кто и когда похоронен здесь? Почему никто мне об этом не рассказал? Я знакомился со всеми архивными материалами по Топхану, но про этот случай нигде ни слова. Судя по пирамидке и звездочке, несомненно одно: здесь похоронен изыскатель.

Сквозь наваленные камни проросла елочка. Дереву, несмотря на маленький росточек, от роду лет тридцать. Значит, трагический случай (что трагический — не было сомнений) произошел еще в довоенные годы. Тогда не было вертолетов, а самолету здесь негде приземлиться. Значит, пирамидку везли на вьюке. Сначала похоронили, а потом, возможно, уже на следующий полевой сезон, вернулись сюда, с этим грубоватым, но долговечным памятником.

Вот такое, выходит, дело...

9

К концу третьего дня посадочная площадка — бревенчатый помост в два наката — была готова, расчищены от леса подходы. И на четвертый день мы приняли первую машину.

С этого дня, если позволяла погода, вертолет гудел непрерывно. Прибывали люди и грузы, вокруг аэродрома росли штабеля бочек, мешков, ящиков. Высились бухты троса, связки кроватей-раскладушек, между ними тюки со спецвойкой, гирлянды нанизанных на проволоку топоров — и прочее и прочее. Летчики ругались, требовали разгружать подальше, но подальше было или болото или свалы острых камней. А до сухого и ровного места таскать было некому, да и долго, а протащить летчики не желали.

Палаточная наша деревня уже не размещалась на этом берегу, мы бросили через ручей временный мостик и стали заселять территорию поселка.

Весь световой день разносился по распадку стрекот пил, дымили костры, трещали и ухали падающие деревья, тюкали топоры.

Картина, если посмотреть со стороны, грандиозная, глаз радуется. Я ел на ходу, пил ладошкой прямо из ручья, потому что дойти до па-

латки было некогда, подписывал и читал радиogramмы там, где меня находил радист. Работа была на износ, но я чувствовал себя бодро и деятельно, потому что реально ощущал ее результаты.

К нам через тайгу пробились два трактора, таща цугом сани. На сани стояли пилорама, дизель для электростанции и токарный станок для механической мастерской. Следом пришли бульдозер и гусеничный тягач военного образца.

Это уже было кое-что. Мы задыхались без тягловой силы и транспорта. Теперь дела пошли веселее.

Топханское лето короткое: два месяца. По прямой мы были в каких-нибудь ста пятидесяти километрах от Кузнецка, но сказывалось высокогорье. Кровь из носу — к сентябрю мы должны иметь как минимум два десятка жилых домов, контору, магазин, пекарню, склад взрывчатых материалов, дизельную электростанцию.

В управлении, когда шла еще верстка наших планов, я выговорил условие: год не требовать от меня буровых и горных работ, — с тем, чтобы я, не распыляя сил, употребил его на строительство поселка, подъездных путей к месторождению, высоковольтных линий и т. п.

Начальство понимало разумность этих требований. Разговоры о необходимости такой постановки дела при организации стационарной партии велись в нашем управлении давно. Однако на практике господствовала старинка: вместе со строительством поселка и материальной базы партии спускался и план разведочных мероприятий. И ей приходилось прыгать, как говорится, из куля в рогожку.

Топханская партия первая получила право приступить к разведке лишь только после того, как будет создана база. Этому способствовали не столько мой авторитет и мое красноречие, сколько то обстоятельство, что по сложности природных условий не было в системе управления партии, равной нашей.

10

Наконец прилетел на Топхан Бронислав Афузов.

Прилетел он под вечер, последним рейсом, и я, упрежденный радиogramмой, сделал попытку сервировать гостевой стол: отвариł картошки, пожарил хариусов, распечатал всевозможные консервы. Недалеко за палаткой нарвал колбы и поставил в банку на манер букета.

За бачком с питьевой водой стыдливо пряталась бутылка водки (то и дело заглядывали посторонние).

Жил я в шатровой просторной палатке один; палатка эта была для меня одновременно и рабочим кабинетом, где я по утрам проводил раскомандировки, и частично складом материальных ценностей: связок рукавиц-верхонок, ведер, сухих батарей.

Бронислав привез письмо от Ветки с Данилкиными понизу каракулями, к письму впридачу — три пары носков, сетку лимонов и журнал «Новый мир» с новыми стихами Евтушенко. Письмо я пробежал глазами не сходя с места, растроганно улыбнулся каракулям, журнал кинул на

кровать — люблю читать стихи наедине и под настроение; а лимоны выгрузил на стол.

Тут же из Бронькиной скороговорки узнал, что Наташа передавала мне привет, Алиса Канончик велела поцеловать меня в носик, а Вовка предупреждал (по секрету от жен, конечно), что к нам направляются две юные биологини из Сибирской Академии наук. И чтобы мы там не развалили рта, лесные пеньки. Ну и тому подобное.

Потом мы сидели с ним за столом, лицо в лицо, молчали и улыбались друг другу одними глазами.

Я был рад Броньке не только потому, что с его приездом с меня сваливалась часть производственных работ.

На деловой основе я схожусь с людьми легко и быстро. В партии меня окружали надежные товарищи — и старшие по возрасту, и младшие по служебному положению, которых я уважал и которые уважали меня. Но не было среди них такого, с кем бы я мог вот так вот — сесть и помолчать. А я убежден: хороший друг тот, с которым хорошо молчит.

— Ну, давай, будем, — наконец сказал я.

— Давай, чтоб ее черти взяли, — сказал Бронька, и мы выпили и оба враз захрустели сочной колбой.

— Наташа как, здорова? — спросил я.

— Вполне, — сдержанно ответил Бронислав, и сдержанность эта показалась мне настораживающей.

— Нет, я в самом деле спрашиваю.

— Вот пристал! — Бронька вдруг рассмеялся, но глаза его при этом — я заметил — не смеялись. — Говорю же, все в порядке. Ну, еще по пять капель!

Потом я спросил: каким общественно полезным трудом занимается Канончик, к чему прикладывает свои недюжинные силы?

— Такое впечатление, — ответил Бронька жуя, — что его недюжинным силам подыскивают двухтумбовый стол в управлении.

В голосе друга мне послышалось легкое осуждение. Я возразил:

— Ну, Вовка — мозговой трест, ему там быть — рано или поздно.

— Поздно он обязательно там будет. А вот рано... — Бронислав помолчал, тщательно освобождая от костей хариуса. — Дело в том, что ему подыскивают, а он отказывается. Только что отказался от стола заместителя Бубнова. Однотумбовый стол! Или он на загранпоездку виды имеет? Ничего у него не разберешь.

— Да нет, какая загранка, — убежденно сказал я. — Он бы с нами поделился.

— Он только тем и занимается последнее время, что делится: одну часть говорит, а другую себе оставляет.

— Да что с тобой, старина? — удивленно воскликнул я. — Или ты что-нибудь знаешь?

— Нет, — сказал Бронислав, — слава богу, не знаю. Давай лучше еще по капле... — И, оставляя стакан, морщась, добавил. — Вот так: ее в рот, а она, сволочь, дальше...

У меня не хватало специалистов: не было старшего механика (а уже надо было монтировать станцию), не было электрика, участкового геолога, знающего нормировщика. Я искал человека, знакомого со скальными работами, короче — дорожника. Я, наконец, работал без старшего инженера партии; серьезные опытные инженеры ко мне не шли, потому что работа адовая, а бытовые условия на уровне полевых; а несерьезных и неопытных я сам не хотел.

Пока не начались геологические работы, должность инженера взялся исполнять Бронислав. Основным объектом его внимания стала дорога — от поселка на месторождение. Он имел полное право отказаться — его ли это дело? — но он не отказался, и у меня гора свалилась с плеч.

Мы намечали пробить дорогу до наступления зимы, с тем чтобы, когда весной начнет сходить снег, сразу забросить на террасу буровое оборудование и монтировать вышки. В дорожную бригаду были включены два взрывника, бульдозерист и пятеро подсобных рабочих.

Одновременно другая бригада тянула на гору высоковольтную линию.

Эти работы отвлекали у партии немного сил, и я радовался в душе, что строительство поселка укладывается в запланированные сроки, то есть до выпадения снега.

Несмотря на мой опыт работы в тайге (правда, очень относительный), в значительной мере оптимист во мне брал верх над пессимистом. Я знал одно: при организации крупного дела, связанного с участием большого коллектива разношерстных, вчера еще незнакомых друг другу людей, всякого рода накладки, неувязки, промахи, вызванные и объективными обстоятельствами, и складом человеческих характеров, естественны и закономерны.

Привыкнуть ко всему этому нельзя, а вот не дать себе зарыться в них, уметь выкарабкиваться, постоянно держа перед собой главную цель и вдохновляясь ею, — это качество для руководителя, по-моему, просто необходимо.

Топхан для меня в этом смысле не стал исключением.

Сначала потянулись мелкие неприятности: исчезновение из пекарни запаса дрожжей; приезд двух семей рабочих, несмотря на мой категорический приказ не вызывать семьи, пока не будет построено жилье; расплавление подшипников тракторного двигателя; падение со сруба пьяного плотника; прибытие в партию смазливой фельдшерицы, взявшейся за врачевание моих молодых рабочих в основном с помощью собственного темперамента.

А однажды прибежал парнишка из бригады, монтировавшей в поселке воздушную электросеть. В одном пролете провода легли на рябину, бригадир интересуется: что делать?

Считая вопрос об эстетическом виде поселка принципиальным, я тут же пошел вслед за парнишкой и накинудся на виновных.

— О чем вы, дьявол подери, думали, когда столбы намечали?

Бригадир — грузный и рябой, с маленькими умными глазками — почесал под кепкой висок, ответил:

— Мы думали о столбах.

Этот убийственно простой ответ поставил меня в тупик: в самом деле, о чем же еще? Я плюнул в сердцах и махнул рукой: что теперь поделаешь, рубите. Не перекапывать же линию!

Потом начались вещи куда более серьезнее.

Но здесь мне хочется сначала рассказать об одном замечательном природном явлении Топхана. А именно: о летних грозах. И кое о чем другом.

Я и раньше слышал, что грозы над Топханом поражают необыкновенные, лихие, ни с чем не сравнимые. Но одно дело слышать о них, другое — столкнуться самому: да, и лихие, и необыкновенные, и грандиозные — с точки зрения любителя экзотики и острых ощущений. С точки же зрения хозяйственника и материально ответственного лица, каковым прежде всего являлся я, — просто безобразные и разнuzданные.

Нейтральной погоды — тихой пасмурности, глухих облачных разливов, сухой среднерусской хмари — здесь летом нет. Такое если и бывает, то лишь в качестве переходного периода. Одно из двух: или сияет маленькое, высокое, крепкое, как перекаленный орех, солнце, или бушует стихия — яростная, но как и всякая ярость, непродолжительная.

Вершина Топхана похожа на укрытое одеялом колено. Сверху овальная гладкость, а вниз — складки, складки. И чем ниже, тем складки более форменней и грубей.

От поселка виден только гребень ближайшего отрога — полутундра, массивы стланика, выветренные клыки коренных пород. Вершина высовывается над гребнем бледным и несолидным куполком. Такое впечатление, что стоит гребню встряхнуться, и куполок, как горошина, укатится в ее складки. Но это обман перспективы: до вершины добрый десяток километров.

Над куполом сперва с дрожанием сгущается воздух; прозрачный дымок вытекает откуда-то из-за горы и, как кольцо Сатурна, опоясывает купол. Кольцо толстеет и спускается вниз, исчезает с глаз, и вершина снова чиста, и светит солнце; но в небе уже преобладает пепельный цвет, и на все вокруг падает тень. Именно не набегает, а падает — сразу со всем сторон.

Из-за полутундрового гребня неожиданно близко и потому угрожающе выплывает раздерганная по всему горизонту туча. Верхняя ее кромка заворачивается, заворачивается против движения — так иногда в кино крутятся наоборot колеса. Но там оптический обман, а здесь все реально, зримо и потому впечатляет.

Туча — если можно назвать тучей шевелящийся клубок — не плывет, а скатывается по отрогу и одновременно пухнет вверх. В ее недрах пляшут белые, точно блеск эмали, сполохи.

И вот уже сечет крупный дождь или град, но такой редкий, что можно сосчитать каждую градину.

Уже темно; небо начинает покрхтывать, точно тяжело перегруженный воз. И вдруг вы видите в окно или в прорезь палатки, как слева, справа, спереди в землю и во что попало: дерево, строение, камень, тракторную трубу — впиваются белые змеиные язычки. Грома нет, а только треск и яростное свечение, молнии не успевают разветвляться, бьют тупо, коротко — земля рядом. Вы с трепетом ощущаете, как наэлектризовываются ваши волосы и вы сами превращаетесь в лейденскую банку.

Тут я забегу вперед, в следующее лето, когда уже бурились вышки и люди на горном участке жили в металлических, покрашенных алюминием вагончиках. На вышках выбивало фазы, сгорали трансформаторы, сами по себе звонили телефоны. Из аппаратов, как из буржуйки в ветреный день, сыпались искры. Редкая такая гроза обходилась без пожаров.

Это была не гора, а какой-то адский конденсатор.

— Что вы хотите, — говорили знатоки, — земля нашпигована железом.

12

Мы отпраздновали первые новоселья: были сданы контора, магазин, пекарня, склад взрывчатых материалов и пять жилых рубленых домов. Один дом пришлось сразу отдать двум контрабандой прибывшим семьям (не жить же с детьми в палатках), во втором устроили столовую, а остальные три дома были приспособлены под общежития.

Бронислав со своей шумной бригадой уже пробил полукилометровый косогор щебеночного грунта, преодолел каменную осыпь и первую скальную выемку — впереди оставались еще три таких выемки и тяжелый серпантин с многократным пересечением валаунника.

Приходил он в конце дня усталый, покусанный оводами и обожженный солнцем, сразу лез в ручей умыться, рычал там и ухал. Потом мы ужинали и немногословно обменивались новостями; Бронислав весело подтрунивал над своей новой специальностью, говорил, что когда его выгонят из геологов, он прямоком пойдет в дорожники, а вот куда пойдешь? И вообще строительство — это вещь, сразу видны результаты. А геология что такое? — сплошная хиромантия и гадание на кофейной гуще.

У него еще хватало энергии разрубить пару чурбаков на дрова, побаловаться с подаренным мне щенком, которого мы называли Топханчиком. Потом он заваливался на раскладушку и брал в руки книгу.

А я снова уходил в контору — составлять ведомости, сметы, писать заявки, — словом, как кидал мне вслед Бронислав, «думать, как жить дальше».

Но была у меня еще одна работа, о ней не знал никто, даже Бронислав. И не работа, а так, легкое хобби, забава, приятное времяпрепровождение.

Оставшись один, я вынимал из стола пачку цветных карандашей, карту-схему поселка и погружался в мир, так сказать, грез.

Я сочинял генеральный план моего поселка, сообразуясь с собственным вкусом и собственным опытом. Исходной идеей плана было вписаться в природу! Распадок наш уже не казался мне таким узким, похожим на ущелье с развернутыми бортами. А два сливающихся ручья (почти реки!) виделись уже не помехой, а украшением центральной части плана. Специальными значками были отмечены все сохраненные березы и рябины (ох, дались мне эти рябины!), могила неизвестного изыскателя и крупный, с железнодорожную цистерну, валун, назначения которому я еще не придумал.

Трудился я над планом увлеченно, как молодой стихотворец над первой тетрадкой стихов, и только предельная усталость заставляла меня бросать карандаши и идти спать.

13

Начало августа ознаменовалось заметным событием — внезапным приездом в партию большого начальства.

Внезапным — в полном смысле. Я не получил накануне ни эрдэ, ни какого другого уведомления.

Я был на аэродроме на разгрузочной площадке, когда приземлился МИ-4 (перед этим он сделал два круга, чем удивил меня), и в распахнувшейся двери замаячила пятнистая шевелюра Андрея Михайловича. Следом соскочили, невольно пригибаясь под шипящими лопастями, сопровождающие его начальник производственно-технического отдела Кокорев, заведующий геологическим отделом Бубнов и начальник нашей экспедиции Безродных.

Все четверо, зажмурившись от поднятого вихря, так и выбежали прямо на меня.

Главный коротко потрянул мне руку:

— Не ждал, небось?

— Начальство не ждет, к нему готовятся, — отшутился я. — А вы почему-то, Андрей Михайлович, лишили меня этого удовольствия.

— Не криви душой, Овчинников, — сказал главный, — удовольствие не из самых приятных, по себе знаю. Давай веди к себе.

Он был прав: мой внешний вид — рабочая куртка с закатанными рукавами, сапоги в цементе — и моя растерянная физиономия красноречиво говорили: только вас мне еще не хватало!

Когда мы перешли мосток над бурлящим ручьем и по наметившейся уже улице — пять домов и несколько срубов за ними — поднялись к конторе, главный констатировал:

— Ничего! Сколько ты здесь наворочал! Молодец.

От этой не слишком заслуженной похвалы я насторожился. А Безродных все же не утерпел и пробормотал, придиричиво оглядывая панораму поселка:

— Не столько наворочал, сколько разворочал. — И ко мне: — Станция-то, по твоим донесениям, уже под крышей, а в действительности?

Тут и я не утерпел и высказался:

— Так, Иван Александрович, жду асбофанеру, которая мне уже давно отправлена. Это уже по вашим донесениям.

Главный рассмеялся, и Безродных натянуто улыбнулся тоже своим скуластым и задубленным лицом старого полевика — опять же непривычная реакция на мою хотя и мелкую, но дерзость.

Почти полдня бродила моя загадочная инспекция по территории поселка; сунула нос в каждый уже готовый дом, ощупала каждый строящийся; побывала и на пилораме (послушала истошный визг циркулярных пил), и в мехмастерской, и заглянула даже в шатровую палатку на берегу ручья, приспособленную нами под баню (я давал при этом комментарии — разумеется, оптимистические, о чем позже пожалел). А потом изъявила желание посетить строительство дороги на террасу.

Я предложил было для поездки тягач, но главный вдруг жестко оборвал меня:

— Твоему тягачу что — делать нечего?

— Да нет, — смутился я, — дел, честно говоря, под завязку, сами видели. Но ведь четыре километра, и все на подъем.

— Сердечников среди нас как будто нет, — сказал главный. — Сходим пешком, лишний жирок сбросим.

«Нет, черт подери, что-то в этом мире явно сместилось», — думал я, шагая уныло по глиняным засохшим кочкам рядом с обильно потеющим начальством. Начальство помахивало при этом хилой веточкой на стаю слепней, дико обрадованных появлением свежатинок.

14

Под вечер в конторе, в моем новом кабинете, обитом дранкой, но еще не оштукатуренном, состоялось летучее совещание.

В проемы незастекленных окон влетал ветер. Главный, держа речь, беспрестанно пил воду и все похватывал пальцами красное распухшее ухо. И он не бегал, как обычно, а сидел за столом, растопылив локти. И тени под глазами, и набухшая вена вдоль шеи — уж не был ли он сам сердечником?

Говорил он недолго. Смысл его речи был таков: мы много и серьезно сделали (хотя могли и больше!), у нас хороший настрой, люди понимают важность дела; большинство наших претензий к управлению справедливы, они зафиксированы. А основное — его обнадежило состояние дороги. Далее он заметил: он не ожидал, что при отсутствии специалистов-дорожников работа будет подвигаться так споро. И мы совершенно правильно поступили, двигая дорогу одновременно со строительством поселка и производственной базы.

— Овчинников заверил меня, — сказал он, — что дорога будет закончена до первого снега. Если перевести на календарный язык, то до октября месяца, правильно, товарищи?

Никаких я заверений не давал, а просто заметил (еще там, на дороге), что мы поставили цель выбраться на террасу до зимы. Постави-

ли цель. И не до первого снега, а до зимы, это разные вещи. Но возражать главному не хотелось. Не в этом, я чувствовал, соль. Я промолчал, и все наши промолчали тоже, только Бронислав Афузов, сидевший рядом, нервно шевельнулся.

— Значит, правильно, — сделал вывод из нашего молчания главный, — до октября. Это при существующем положении вещей. А если с божьей помощью поднатужиться...

Мое беспокойство и ощущение подвешенности достигло предела. Я не выдержал и довольно резко сказал:

— Андрей Михайлович, зачем эти околичности? Давайте прямо: что от нас требуется? Тогда будем толковать по существу.

Главный отхлебнул из стакана. Пучки седины трепетали, как стружки, в желтом шевелящемся от ветра пламени его волос.

— Хорошо. Мы хотим с вами посоветоваться: у вас есть все возможности сделать первую забурку уже в октябре.

Кто-то от дверей неприлично хохотнул. Сигарета, которую я раскалывал в пальцах, лопнула, осыпав меня табаком. Вместо запланированной весны забуриваться уже сейчас, нынче осенью? Значит, опять старая песня? За счет строительства жилья, за счет бытовых удобств. А где же обещанный мне год? Я ждал, что главный посмотрит на меня, но он не посмотрел.

И я понял, произносить вслух все эти риторические вопросы нет смысла: главный их прекрасно знает. И, тем более, я понял: решение по существу уже принято, а выражение «посоветоваться» и ему подобные несут чисто психологическую нагрузку. Такие, как наш главный, приезжают не для того, чтобы советоваться, а для того, чтобы убедиться на месте, что решение принимается правильно.

Однако промолчать я не мог — было обидно, и я сказал:

— Быстро же вы принимаете новые решения. На старых еще чернила не обсохли...

Главный теперь уже прямо посмотрел мне в глаза, словно ждал от меня первого слова, хмуро отчеканил, переходя на вы.

— Давайте, Овчинников, будем говорить не о быстроте принятия решений, а о быстроте их выполнения. И по сути, сами настаивали.

— Чем это вызвано? — спросил я уже без всякого энтузиазма.

— Руда нужна, — ответил главный просто и буднично и полез в карман за платком, стал тщательно вытирать лицо. — Домны Сибирского завода растут как грибы. Уже сейчас нехватка сырья...

— У нас нет еще даже бурового оборудования — оно в складском резерве экспедиции.

— Не ваша забота. В ближайшие дни вы начнете его получать, — ответил главный.

— Конечно, в счет других, уже занаряженных грузов, — уточнил я.

— Отчасти да, — сухо согласился главный.

И тут встрял Бронислав Афузов.

— Мы поняли, что мы хорошие дорожники, — сказал он, подергивая бровями. — И мы построим дорогу в срок, оправдаем, так сказать, доверие...

— Спасибо,— серьезно сказал главный.

— Спасибо, Андрей Михайлович, не отступаете. И божья помощь, на которую вы сослались, нам ни к чему. Нам нужна помощь земная, с ней как-то веселей. Нам не только за оставшиеся два месяца надо доставить громоздкое буровое оборудование, и не только затащить его наверх, и не только смонтировать на профилях, и не только определить профили...

— Ну-ну-ну! — перебил весело главный. — Экий загнул период, дайте передохнуть.

— Короче,— согласился Бронислав,— у меня в геологическом отделе два человека, и то один из них — строитель-дорожник.

— Все ясно. Чем можем — поможем.

— Нет,— упрямо сказал Бронислав, моргая маленькими глазками, нацеленными в лицо главному. — Эта формула — для погорельцев. Нам что-нибудь потверже.

— Хорошенькое дело, берете за горло? — с напускной обидчивостью проговорил главный, а по глазам было видно: доволен, что так легко справился с нами.

15

Все мое внимание с этого дня было приковано к дороге и к приему бурового оборудования, которое, конечно же, пошло вместо строительных грузов. Нам прибавили несколько летних часов, но все они были отданы заводу солярки. Ее требовалось прорва: на солярке работали дизели электростанции.

Поселком стал заниматься мой заместитель по хозяйственной части Лузин. И теперь по утрам на раскомандировках я имел удовольствие слушать его жалобы, однообразные, как пение муллы: нету шарниров, нету кирпича для печей, нету гвоздей дюймовых; а паклю подмочил дождь, а известь не гасится, а плотники Теткин и Дядькин грозятся уехать, если не получают аванса, и так далее и тому подобное.

Приехали и несколько специалистов: механик по дизелям, два буровых мастера, техник-электрик с женой, имевшей диплом об окончании кулинарного училища.

В один прекрасный день с неба спустился не кто иной, как сам Владимир Канончик.

Его я увидел вечером, когда пришел с террасы, где сформированный второй строительный отряд пробивал дорогу через курумники. Было еще светло. Вовка стоял возле соседней палатки, с топором в руках, рядом высилась куча дров. После его секретной информации к нам в самом деле прибыли две биологини с охранной грамотой Академии наук и поселились рядом со мной. Сейчас одна из них в черном облегающем трико — такая грациозная пантера на фоне оранжевой палатки — складывала дрова поленицей, хотя в этом не было смысла, не на зиму же!

Вовка воткнул топор, подошел — пузичко вперед, до ушей улыбка.

Как всегда, верхняя половина его костюма выглядела безупречно — рубашка, галстук, в широких манжетах янтарные запонки.

Мы коротко потискали друг друга.

— Однако! — сказал я. — Уже коробочка?

— Что ты, Толик. Помочь слабому — долг всякого здорового и праздного мужчины.

— В гости? — я ткнул его кулаком в живот.

— Ага, а что? Не примешь?

— Ладно, потолкуем, дай сполоснуться. — Я сдернул со шнура полотенце и тут только увидел при входе чемодан, а рядом зеленый рюкзак, огромный, как метеорологическая гондола.

— Гм, с таким багажом ездить по гостям просто неприлично, — заметил я. — Если, разумеется, в нем не коньяк... В командировку?

— Вроде этого. Размяться.

— Жаль, Броньки сегодня нет, на террасе днюет и ночует.

Я направился к ручью. Вовка с сопением прыгал позади с валуна на валун, словно играл в классики.

— Ты действительно застоялся, — сказал я, отдуваясь, ощущая, как вместе с пылью и потом ледяная скрипучая вода смывает усталость и зуд комариных укусов — святая минута!

Вовка поднял обеими руками камень и, хохоча, обрушил его в воду — брызги полетели на оба берега.

Я с интересом посмотрел на него.

— Вовик, может, ты бы лучше и мне дров нарубил?

Он с рычанием схватил меня, взвалил на плечо и потащил к палатке — семьдесят два килограмма моего живого веса; накопил силу, дьявол!

— Никакого почтения к чину, — сдавленно шипел я, даже не пытаясь вырваться. — Унти, не отмечу командировку!

За столом с наскоро собранным ужином (в необъятном рюкзаке нашлась, разумеется, и бутылка коньяку) Вовка, вдруг посерьезнев, признался: приехал он не в командировку и, тем более, не в гости, а работать. Я никак не мог взять в толк, о какой работе речь: он, по всем слухам, был уже моим, хотя и косвенным, начальником — занимал должность в управлении.

— Ко мне, в партию? — продолжал я таращиться на него. — Кончай, Вовик, не держи меня долго в дураках. Отдел кадров для итээр такого ранга, как ты — в городе, в управлении. Сие тебе известно не хуже меня.

— А ты — без рангов, возьми меня в участковые.

Он улыбнулся; улыбка получилась какой-то напряженной, одними скулами. Словно он пошутил и увидел — пошутил не к месту.

— Участковым геологом? — переспросил я.

— Да, старина.

Я понял — это серьезно, и замолчал. Ждал, что Вовка выскажется до конца.

— В общем,— сказал он,— я законфликтовал. С главным. Еще зимой дал ему согласие сесть на отдел, а потом отказался. Сам понимаешь, рано мне за конторский стол. И попросился в твою партию. Он меня и слушать не стал, выгнал из кабинета. Я подал заявление, чтоб подчистую...

И после этого объяснения мне кое-что оставалось неясным, однако пытаться Вовку дальше мне почему-то не захотелось. Разговор двух друзей переходил — мне почувствовалось — в разговор начальника с подчиненным. Как выразился Бронислав? Одну половину говорит, а другую себе оставляет? Похоже...

— Послушай,— осенило вдруг меня, мою слегка хмельную голову.— Может, у тебя с Алиской что? Ты и рванул. Это сейчас принято.

Вовка рассмеялся.

— Ну, ты даешь! У меня с Алиской? Скажу больше: если будет комнатенка, Алиска готова хоть завтра сюда.

Вовка посмотрел на меня со значительностью, вылез из-за стола, молча стал расшнуровывать рюкзак. Долго вытаскивал из его недр что-то громоздкое — сыпались на пол носки, рукавицы, свитера. Оказалось: деревянное — доньшко углом — корытце. Старательский лоток! Показал и тут же запихнул обратно.

Вернулся он к столу со второй бутылкой коньяка. Мы высосали по полстакана, не произнося ни слова. Я смотрел на него — на его слегка курчавую лобастую голову, на крупное лицо с буграми надбровий, как он неторопливо, тщательно жует — и думал: вот это Вовик, вот это характер! Какая тут к черту загранка, какой двухтумбовый стол! Как мы были мелки с Бронькой и наивны в своих размышлениях о Канончике. Друзья называется, пуд соли съели!

— Ну вот, товарищ начальник, теперь ты знаешь все,— сказал наконец Вовка, будто я только что выслушал его длинную исповедь, а не пять минут абсолютного молчания.— Я буду вкалывать как все. Ты на этот счет можешь быть спокоен. Но остальное время — мое. У меня к тебе одна просьба, как к другу: не мешай мне. Честно говоря, Алиску я оставил в слезах, но Алиска меня понимает. Ты не догадываешься, как это важно, когда понимают.

Лицо его дрогнуло, он стал торопливо закуривать.

— Стационарная партия на Топхане мне — как подарок судьбы. Не воспользоваться им, не попытаться, значит, жалеть потом всю жизнь. И мое жеребячье поведение у ручья... Ты можешь понять...

Я сказал нарочито грубоватым тоном:

— Если честно, Вова, все это пахнет школярством, но твоя убежденность... Старина, я снимаю шляпу.

Вовка поморщился.

— Ладно тебе, шляпу он снимает! — буркнул он.— Хватит, поехал. И вообще хватит об этом.

Он растолок в баночке окурок, приподнял недопитую бутылку, прищурился.

— А не пригласить ли нам эту девочку? Не зря же я топором махал. Она как — в смысле коммуникабельности?

Я рассмеялся.

Нет,—подумал я,—в этом парне есть жизненная сила. Дай бог, чтобы она не была потрачена на поиски перпетуум-мобиле.

16

Дорожникам оставалось пересечь последний язык каменного свала, а там около километра земляной выемки — и вот она, нагорная терраса. Зеленые валуны диабазы, угловатые, как надолбы, взрывники крошили накладными зарядами. Над Топханом от утра до вечера гроыхала канонада. Единственный наш бульдозер работал здесь.

Бульдозерист давно уже просил поставить машину на ремонт — барахлило заводное устройство. Но ни я, ни Бронислав не соглашались. Это бы означало остановку всех дорожных работ. Голь на выдумку хитра, и бульдозерист приспособился. Весь день он не глушил двигатель, а к ночи ставил машину на косогор, подперев ее камушками. Утром ему стоило только опустить тормоза, и машина, скатываясь, заводилась — снова на целый день.

Катастрофа случилась, как всегда, внезапно и откуда не ожидали.

Вечером, по окончании работ, бульдозерист поставил машину на склон, затянул фрикционы и то ли забыл, то ли поленился подложить камушки.

Не успел он отойти и сотни шагов, как машина стронулась и, набирая скорость, покатила вниз. А до низу было километра полтора тридцатиградусного, заросшего ельником склона. Ошеломленный бульдозерист бежал следом. Тяжелая машина прыгала, как мячик, срезая елочки и выбивая из камня пыль и искры. На пути оказалась болотистая складочка, кочкарник. Машина запахалась ножом в кочкарник, перевернулась через нож и рухнула, расплющив кабину.

Из экспедиции незамедлительно прилетела грозная эрдэ, подписанная Безродных, требовавшая наказать виновных и сообщить, в какие сроки может быть восстановлена машина.

Виновные мы были все — то есть, я, Бронислав и, конечно, бульдозерист. Я не унтерофицерская вдова, себя наказывать не мог, представив это самой экспедиции, Афузову же объявил выговор, а ремонт машины отнес за счет раззявы бульдозериста.

Строительство трассы фактически замерло, и это было во всей истории самым удручающим.

Я пошел на крайность: запросил у Безродных другой бульдозер, хотя бы временно. Его нужно было гнать через тайгу, по бездорожью. Безродных ответил желчным радиопосланием, смысл которого сводился к известной поговорке: за морем телушка полушка, да рубль перевоз. Однако следом я получил сообщение: бульдозер к нам вышел. Явно чувствовалось вмешательство управления.

В августе ночи стали холодными, температура понижалась до нуля, палатки уже не спасали. На террасе, на месте будущего горного участка, мы поставили домик и телефонизировали его. В нем ночевали

строители. Там же обосновались мои геологи, возглавляемые Брониславом. Я освободил его наконец от дороги, и он взялся за свое прямое дело — готовить проект на бурение. В домике на террасе поселился и Вовка Канончик.

К сентябрю плотники срубили баню, десять двухквартирных домов, школу. Однако звонку в нашей школе не суждено было прозвучать. Не имея твердых перспектив на жилье, почти никто не рискнул везти сюда детей. Школа была отдана под общежитие. Людей и управление, и экспедиция присылали много, но многие и уезжали, особенно специалисты. Это были, как правило, люди в годах, семейные. Для них вопрос жилья и бытовых удобств решал все. Зима уже нависала над Топханом, а мы план жилого строительства едва выполнили наполовину.

Но случались у нас и маленькие праздники. Помню, когда впервые застучали дизели станции и по всему поселку вспыхнул свет! Загорелись лампы и на уличных столбах — у конторы, над крыльцом магазина, на самой станции, стоявшей у ручья. По темной ленте ручья заискрились золотые змейки.

Я отошел в сторонку от станции, от столпившихся людей, огляделся и почувствовал: волнуясь, черт меня дерит!

Вскоре мы отправляли наверх первый тракторный поезд, груженный буровым оборудованием. Событие это тоже вылилось в маленькое торжество. Правда, отсутствовали внешние атрибуты праздничного — ни речей, ни цветов. Праздник звучал в нас самих. Это было видно по тому, как весело и шумно, с шутками втаскивали на сани станок, как хлопали по спине смущенного вниманием тракториста, как дружно закурили и по обычаю расселись кто на что сумел, будто не трактору, а всем нам предстояло отправиться в тяжелый путь на террасу.

А еще позже, в конце октября, когда на террасе уже вовсе мел снег, мы собрались в тепляке первой смонтированной вышки — на первую забурку. Сменный мастер взялся за рычаги гидроуправления, станок сдержанно загудел, штанга со снарядами пошла вниз и, легко пройдя наносы, уперлась в коренную породу. Станок задрожал, завыл, штанга, бешено вращаясь, заблестела эмульсией — разведка Топханской аномалии началась. Здесь же в тепляке был и Вовка Канончик. Он стоял, запахнувшись в полушубок, серьезно, даже с каким-то детским интересом смотрел на все происходящее.

17

Во вторую или третью еще субботу пребывания на террасе Канончика мне позвонил Бронислав.

— Начальник, выслушай меня. Канончик опять вчера ушел в двухдневное путешествие. А погода — взгляни какая.

Я посмотрел в окно: сеял мелкий затяжной дождь.

— Ты беспокоишься о его здоровье? — спросил я.

— Я беспокоюсь о его жизни, — сказал Бронислав. — Он уходит один, неизвестно куда. Заломать ногу на курумах по такой погоде —

раз плюнуть. И вообще я не имею права разрешать одиночные маршруты.

— Ты же знаешь,— сказал я,— он уходит на южный отрог Топхана.

— Топхан большой, если что случится, ты мне подскажешь, где его искать?

— Нет, не подскажу.

Бронислав на том конце провода укоризненно помолчал.

— Ну, лады,— сказал я: беспокойство друга мне показалось вполне обоснованным.— Как вернется, пусть спустится в поселок, я поговорю.

И когда Вовка пришел ко мне в контору, заметно осунувшийся, с обветренными скулами, я сразу, без обиняков, высказал ему наши с Бронькой опасения.

— Ты не можешь запретить мне проводить свободное время так, как я хочу,— хмуро проговорил он, выслушав меня.

— Речь не о запрете. Мы должны знать твое местонахождение. В конце концов, это наше право.

Тогда Вовка вытащил из полевой сумки карту, развернул передо мной. Я узнал знакомые контуры южного отрога. Нижняя часть листа — довольно незначительная — была аккуратно заштрихована пикетажным карандашом. Этакie растопыренные елочки, нанизанные на хвостики ручьев и речек.

— Неужели все нынче? — удивился я.

— Нет, конечно. Вот мои еще студенческие маршруты,— ткнул он пальцем в одну из елочек.— Это — работа отряда, хороший кусок. Тут последние результаты, то есть прошлогодние. А нынешние — вот она, гусиная лапочка.

Она была удручающе мала, эта лапочка, и Вовка, перехватив мой взгляд, сказал:

— Только не смотри на меня как на больного. Я вполне здоров. И даже здоровее, чем ты думаешь.— Он провел ладонью по карте, разглаживая сгибы, пальцы его подрагивали.— До зимы мне надо пройти все притоки Чернявой, по ее правому борту. Это, как видишь, совсем рядом. Дни сейчас будут короткие — и маршруты короткие. А с весны...— он опять уловил в моих глазах сочувствующую усмешку (видимо, ему показалось, что я усмехнулся) и оборвал себя.— Словом, ты понял принцип. Я тебе оставляю дубликат карты. Будешь отмечать параллельно со мной...

18

Первая скважина, пройденная до проектной отметки шестьсот метров, руды не показала. Вторая, третья и четвертая в этой сетке также прошли мимо рудных полей.

Было огорчительно, однако не настолько, чтобы делать какие-то определенные выводы. Шла своего рода пристрелка, и мы уповали на будущее.

Только пятая или шестая скважина подсекла наконец долгождан-

ную руду. Едва я успел отправить наверх это оптимистическое известие, как руда исчезла. Опустившись на три с половиной метра по пласту, буровой снаряд уперся снова в диоритовую крепчайшую породу.

Потом наши буровые бригады, продвинувшись почти до восточной границы нагорной террасы, еще несколько раз прокалывали рудные тела. Но они тут же, через считанные метры, выклинивались, оставляя нас в досадном недоумении.

Огорчительным была не столько малая мощность тел (честно говоря смехотворно малая) и даже не их скорая выклинка. Хуже было то, что эти мелкие блуждающие тельца, так называемые линзы, оказывались там, где мы их не ожидали. Наше предположение: руда на отметке, скажем, ста пятидесяти метров (именно там рисуется эпицентр аномалии), а руда выскакивает на пятистах или даже глубже. Это не давало никакой закономерной картины, не подходило ни под какую классическую теорию залегания железных руд.

Геологи мои, мои оракулы-теоретики, во главе с Афужовым, не успевали разводить руками. В который уже раз пересматривали они геофизические и другие данные и данные, полученные в свое время горными работами — шурфами и канавами. Руда рисовалась на разрезах близко к поверхности, под самые наносы, — и рисовалась почти всюду по площади. Факт сей не столько обнадеживал, сколько настаивал: в горной местности Топхана, где в геологические эпохи происходили сдвиги и смещения, закономерней было ожидать не сплошные рудные поля, а их куски, но куски вполне приличные, в миллионы тонн. Мы же ловили все время какие-то хвостики от ящериц.

К новому году удалось смонтировать шесть вышек. Было пройдено скважинами в общей сложности пять тысяч метров. Благодаря слабой пересеченности террасы и сравнительно пологим склонам вышки удавалось передвигать без демонтажа копров. Это давало заметную экономию времени, и наш план буровых работ выполнялся без особых нарушений.

И вскоре лед тронулся.

Во второй половине декабря дальняя вышка, пристроившаяся почти под самым гребнем хребта, на глубине ста с небольшим метров вошла в руду (и тоже неожиданно для моих оракулов) и шла по ней все оставшиеся дни старого года. Восемь метров... двенадцать... четырнадцать... двадцать два!

Бронислав чувствовал себя именинником, губы его то и дело расплывались в чуть сдерживаемой улыбке. Но когда его начинали поздравлять, он отмахивался — и вполне резонно: успех единичный и ясности общей картины аномалии не дает. Поживем — увидим. Бронька крепко помнил свою самородную медь!

— Тридцать пять... сорок пять... — летели из-под хребта веселые рапорты.

Это был уже не хвостик от ящерицы, а, пожалуй, сама ящерица. О таком новогоднем подарке мы могли только мечтать.

До нового года оставалось три дня.

Вырваться в город всем троим не было никаких надежд, и я предложил Вовке и Брониславу позвать наших жен сюда, в поселок, и устроить встречу нового года здесь.

К этому времени я уже обитал в бревенчатом доме, в одной его половине. Эту половину составляли комната и кухня с кирпичной печкой. Стоял самодельный стол, тумбочка с приемником и три кровати — моя, Вовкина и Бронислава. Когда они спускались по делам в поселок, то ночевали у меня. Так что фактически это была наша общая квартира.

Мы рассудили так: для нашего холостяцкого жилья квартира была что надо — тепла, добротна, однако с точки зрения встречи гостей имела существенный изъян: была оштукатурена, но не побелена — руки никак не доходили.

Мы объявили аврал.

— Только молитесь на погоду! — предупредил я.

— Лбы расшибем! — заверили меня друзья и враз, наперегонки помчались на склад за известью.

Аврал получился что надо! По духу своему, по веселой атмосфере — с шутками, с подначкой напомнил он мне наши студенческие времена. Я раскопегарил печь, стало жарко, мы разделись до трусов, известь летела со щеток дождем, утробно гоготали из комнаты мои расходившиеся друзья.

— А, козлы горные, застоялись, — злорадствовал я, танцуя у печи и ворочая палкой в кипящем ведре наши рубахи — стирка была вторым пунктом нашего аврала.

— Молчи, руководящий стручок, — отвечал Вовка, оскаливая свою заляпанную известью физиономию. — Радист намедни жаловался: эрде, говорит, идет под грифом «служебная», а в ней сплошные «целую», да «обнимаю». Злоупотребляешь, начальник!

Вероятно, мы крепко молились. Тридцать первого декабря, в день прилета наших жен, погода стояла ясная, с легким морозцем. В снежном вихре, поднятом приземлившимся вертолетом, вспыхнула на мгновение радуга.

Первой выскочила из машины Алиска, кинулась мне на шею (я стоял всех ближе), мех ее воротника защекотал мне лицо; потом в дверном проеме показалась розовая шапочка Наташи. Наташа спрыгнула и приняла на руки моего Данилку; следом спустилась по подвешенной лестничке Ветка, прикрываясь от солнца рукавичкой.

С аэродрома мы шли по узкой тропинке гуськом. Топханчик лаял позади, лишенный возможности обгонять нас. Женщины вертели головами, обозревая наши суровые окрестности, отчего моя Ветка, оступившись, ткнулась рукавичками в снег. Этот незначительный факт вызвал всеобщее ликование и массу острот.

Я шел последним, нес на руках Данилку. Парень был укутан, как

полярник, блестели одни глаза. Он пыхтел и шевелился, в надежде обрести самостоятельность. От этого живого шевеления сына на руках у меня горячо сжало горло. Когда мы вышли на протоптанную улицу поселка, я поставил Данилку на ноги, и он покатился, растопырив ручонки, расталкивая всех. Рядом радостно прыгал, заразившись нашим настроением, Топханчик.

Я приостановился, закурил. Ветка оглянулась, пристально посмотрела на меня; на ее порозовевших щеках дрожала улыбка. Она поняла мое состояние.

Попадавшие нам навстречу останавливались, поздравляли с наступающим. Соседи выходили на крыльцо, здоровались. Все знали, что к нам приехали жены, и всем хотелось непременно посмотреть на них.

Часов в восемь вечера мы перетащили одну кровать на кухню и, уложив там Данилку, сели в комнате за давно приготовленный праздничный стол.

А ровно в полночь, когда включенное на всю мощь радио провозгласило наступление нового года по нашему часовому поясу, мы, тепло одевшись, с шумом и гвалтом повалили на улицу.

Поселок сиял зажженными окнами. В морозном воздухе фонари возле конторы и на площадке перед мехцехом висели, как шары-одуванчики.

Свет наших окошек слабо выбеливал стоявшую в углу двора ель, похожую на заснеженный стог сена — так она была широка и разлаписта. Мы обтопали вокруг дерева снег и, взявшись за руки, заплясали дурашливым хороводом.

Но вскоре все запыхались, хоровод расстроился. Воспользовавшись моментом, я вытащил из-под полушубка бутылку шампанского и выстрелил. Вместе с пробкой фонтаном выхлестнуло половину содержимого — вино нагрелось за пазухой. Меня громко осудили, и я, чтобы как-то реабилитироваться, объявил: вторая бутылка находится на елке, только нужен смельчак, чтобы ее достать!

Ничего, разумеется, на елке не было, но женщины поверили и потребовали смельчака. И тотчас же назвался Вовка. С пыхтением и кряканьем полез он на ель. Снизу летели подбадривающие крики. Вовка уже вскарабкался метра на три, но вдруг оскользнулся и под треск ломающейся ветви рухнул в сугроб.

Он выбрался из снега — женщины заверещали от восторга: в руке Вовка держал бутылку шампанского!

— Ну, Канончик, — смеялся и я, — ну и ухо!

Бронислав, видя, какую славу среди женского коллектива приобрел Вовка, изъявил тоже желание достать с елки шампанское. Но все закричали, что фокусы не повторяются, повалили Броньку в снег и просто вытащили у него бутылку из-за пазухи.

Когда возвращались в дом, Ветка задержала меня в сенях, прижалась разгоряченной на морозе щекой к моему лицу.

— Какие молодцы, что вызвали нас. Девчата просто без ума, довольны.

— А ты? — спросил я.

В сенях было сумрачно, отчего Веткины глаза казались большими и глубокими. Я сдернул с ее руки варежку с накатанными на шерсти ледышками, прижал к губам пахнущую влажной шерстью ладонь.

— Соскучились мы с Данилкой,— прошептала она.— Скоро вы тут школу постройте?

— Теперь скоро. К будущему учебному году обязательно.

— И ты совсем не приезжаешь, жулик.— Дыхание ее теплыми толчками касалось моих губ.

— Теперь буду,— пообещал я.— Дергачевы что пишут?

— Да! Забыла тебе сказать. Они продлили контракт на два года, так что радуйся.

Известие было в самом деле из приятных, но я, придав голосу уверенности, сказал:

— Два года нам их квартира не понадобится. Заимеем свою.

Двери изнутри дома со стуком распахнулись, в глаза ударил электрический свет.

— Ага! — вкрадчиво торжествующим голосом сказала Алиска.— Они здесь, голубчики, обнимаются, а мы там в коллективе хоть пропадай, да?

Потом мужская половина нашей компании стала решать проблему ночлега — для этого мы вышли на улицу покурить. Решили так. Поскольку Данилка уже спал на кухне, нам с Веткой предоставить кухню, так сказать, отдельный номер. А комнату перегородить посередине брезентовым пологом, который имелся в кладовой — и все дела!

Жены приняли наш вариант со смущением, но и с пониманием сложившейся обстановки.

Когда наконец все уgomонились, был погашен свет и все улеглись, Вовка вдруг в тишине засмеялся, встал и прибавил в транзисторе звуку.

Мелодии праздничного концерта густо заполнили дом. Мы с Веткой вели себя как молодожены, то коротко засыпали, то просыпались и разговаривали шепотом. А мелодии продолжали звучать, хотя были уже другие; казалось, ими навсегда пропитан весь этот бревенчатый тесный дом.

Стекло нашего кухонного окна неожиданно заискрилось, оранжево-белый квадрат света прыгнул на пол, скользнул по нашим лицам и, взметнувшись по стене к потолку, погас. Минуту еще в глазах дрожали оранжевые круги. Кто-то в поселке салютовал новому году осветительной ракетой.

— Скорее бы вы с жильем здесь,— вздохнула Ветка,— а то девчонки наши совсем приуныли — сколько можно одним. Особенно Алиска. Хотя,— добавила Ветка, помолчав,— я бы на вашем месте дала жилье сначала Афузовым.

— Почему? — спросил я.

— Ты знаешь,— Ветка вздохнула опять и уютно ткнулась мне в шею.— С Наташкой последнее время творится что-то неладное. Вбила себе в голову, что у нее больше не будет ребенка...

— Понятно,— сказал я.— Но вот у Канончиков совсем никаких попыток, и Алиска ничего, не расстраивается.

- Канончики — тут дело особое.
— Особое? — удивился я.
— Ладно, — прошептала она, помедлив. — Спи, много будешь такого знать, скоро состаришься.
Я хотел было обидеться, но не успел: вдруг и незаметно уснул.

20

Январь нового года, который начался, вернее — продолжился для нашего горного цеха таким успехом, закончился тоже с успехом. Подхребетная вышка подарила нам восемьдесят пять метров руды.

Мы считали январский успех началом нашей победы на Топхане. А это было началом нашего поражения.

Заложенные рядом вышки одна за другой, с удручающим однообразием стали приносить отрицательные результаты.

Мы сгустили сетку — мимо, мимо!

Каротажные приборы фиксировали в скважинах бешеные магнитные поля, это сбивало с толку больше, чем отсутствие рудных тел.

Подхребетная руда угрожающе вырисовывалась на кальке в виде одинокой линзы, поставленной на ребро и проколотой буровым снарядом сверху вниз.

— Недолго музыка играла, — сказал по этому поводу с горькой усмешкой Бронислав Афузов.

На террасе продолжалось отбуривание проектных глубин, а нам уже приходилось обращать свои тоскующие взоры к следующему участку — Заповедному.

Заповедный был недалеко от террасы, всего в нескольких километрах, между ними темнел провал кара — этакая сплюснутая с боков гигантская каменная воронка. Для техники совершенно непроходима. Кружная дорога виделась только по руслу ручья. Мы начали по ручью выборочно скальные работы. С тем, чтобы сразу после весеннего паводка начать пробивать саму дорогу. А пока напрямую через кар потянули высоковольтную линию.

С наступлением весны я мечтал лично взяться за строительство поселка. Однако вынужденный наш рывок к участку Заповедному, требовавший всех сил, поломал мои благие планы. Строительством снова безраздельно завладел мой зам по хозяйственной части унылый Лузин.

Вовка Канончик возобновил свои поисковые маршруты на южном отроге. После возвращения он всякий раз звонил мне. Я аккуратно носил на карту очередной штришок.

21

Однажды пришлось мне заночевать на горном участке, как раз в день его возвращения. К тому времени здесь, на террасе, вместо деревянного домика уже стояли металлические вагончики на полозьях — шесть штук, целый поезд.

Вовка приходил из маршрута поздно, по темноте. Не дождавшись его, я уснул на чьей-то свободной кровати. Меня разбудил Бронислав.

— Толь, встань-ка,— сказал он.

— Что случилось? — встревожился я.

— Ничего особенного. Просто что-то увидишь, подымись,— Бронислав хмуро подергал бровями.

Мы вышли на воздух. В окне соседнего вагончика горел свет. Мы подошли, заглянули. Канончик в майке с прилипшими ко лбу волосами сидел поперек кровати. Перед ним на табурете стояло ведро с водой. Руки его по локти были опущены в ведро. Вода слегка дымилась. Вовка не замечал нас. Губы его кривились от боли. Меня поразила его сгорбленная фигура, его жесты. Как вынимал он время от времени руки из воды, как смотрел на них, шевеля распухшими в суставах пальцами.

Это был незнакомый для меня Вовка — усталый, растерянный.

— Давно он так? — спросил я.

— Последнее время почти всегда,— ответил Бронислав.

Все было предельно ясно. Бесконечная промывка шлихов в ледяной горной воде не прошла Вовке даром: он нажил себе жестокий ревматизм суставов.

Я колебался: заходить? не заходить? Все же решил — надо зайти. Кивнул Брониславу, и мы толкнули дверь.

Стояла уже полночь. Вовка никак не ожидал, что к нему войдут, тем более — мы с Бронькой. Он продолжал сидеть как сидел. Только мгновенно выражение растерянности на его лице сменилось выражением сосредоточенности. Точно мы застали его за проведением спиритического сеанса. «Переигрываешь, артист,— подумал я.— Если бы не видели тебя минуту назад!»

Поздоровались, присели. На электроплите шумел чайник, из которого Вовка, по-видимому, доливал горячую воду. Лоб его, виски блестели от пара, кутившегося над ведром.

— Помогает? — спросил я.

— Как рукой снимает,— в тон мне ответил Вовка и пошевелил в воде кистями.

— Добавить горяченького?

Вовка быстро исподлобья взглянул на меня, усмехнулся.

— Спасибо. Разве мы на раскомандировке?

— На раскомандировках об этом не спрашивают.

— Слава богу,— вздохнул облегченно Вовка.— Выпить хотите?

Что ни толкуй, были в Вовкином характере завидные качества!

— Ага, здесь еще и нарушают сухой закон,— сказал я и посмотрел значительно на Бронислава (в крохотный магазинчик на горном участке мною было запрещено завозить спиртное).

— Только в присутствии начальства,— быстро проговорил Вовка.— Броня, загляни под стол, за второй ножкой,— он вынул из ведра руки, красные, с набухшими венами, стал обворачивать полотенцем.— Ты вроде уже спал, начальник, я заглядывал.

— А мне вещий сон приснился: будто одного цветущего мужчину перевели на инвалидность, и я вскочил.

— Вещие сны — предрассудок, — сказал Вовка. — Это во-первых, а во-вторых...

— Брось умничать, — не выдержал я. — Во-первых, во-вторых... — Лучшее скажи, когда ты прекратишь угроблять себя?

Вовка согнал на переносице складки.

— Так. Сегодня какое число?

— Мне не до плоских шуток, — прервал я. — Нам уже по тридцать, а мы все еще ждем выигрыша по лотерейному билету.

Бронислав тем временем протянул нам чуть наполненные стаканы. Вовка вытащил руку из полотенца, взял стакан, но пальцы не удержали, стакан выскользнул — прямо в ведро с водой.

Вовка в смущении вытер с лица брызги.

— Значит, не судьба, — он внимательно посмотрел на свои ладони, потом на меня. — Если эти руки — результат ожидания...

— Брось, не придирайся к слову. Я просто хочу тебе напомнить: время открывателей-одиночек прошло.

— И сейчас господствует коллективный разум, — подсказал Вовка.

— Да, если хочешь.

— Прекрасная иллюстрация к нашей разведке топханской аномалии, — усмехнулся Вовка, и в этой его усмешке мне увиделось что-то обидное.

— Иллюстрация к чему? — переспросил я.

— К тому, что коллективный разум может рождать коллективную глупость.

Забывшись, он стал покачивать обмотанные руки, словно убаюкивая их; должно быть, боль не отпускала.

Мы с Брониславом переглянулись.

— Неудача может постигнуть всякую разведку, иначе бы она не называлась разведкой, — наставительно подал голос Бронька.

— Ты про свою медь, что ли? — Вовка повернулся к нему. — Когда меня постигнет то же самое, я вспомню эту утешительную формулу.

Я спросил:

— Ты уверен в нашей неудаче?

— Нет, конечно. Ишь чего захотел! — Вовкины губы раздвинулись в улыбке. Он встал с кровати, заходил туда-сюда по тесному вагончику. — Вы замечаете, братцы? Когда сильно к чему-то стремишься, становишься немного суеверным?

— Да, замечаю. Вот сейчас мне сильно хочется смазать тебе по шее, аж рука чешется.

Вовка приостановился возле меня, склонил голову.

— Юпитер, ты сердисься...

— Да, сержусь, — вспыхнул я, — но я и прав! Может, и существует эта идиотская ртуть по южному отрогу, допускаю, но выискивать ее в одиночку со старательским лотком можно годы, десятилетия. Это же два государства Люксембург и княжество Монако впридачу, как пишут в газетах! И ведь никаких сопутствующих признаков, которые бы помогли набрести на след. Минерал без спутников. Одиночка! Пока не возьмешь в руки его, живым. Но ты возьми!

— И возьму, — сказал Вовка.

— Чем? — спросил Бронислав. — Ты уже стакан с водкой взять не можешь...

Канончик сел на кровать, уткнулся лбом в обмотанные полотенцем руки. В какие-то мгновения мне показалось: плачет. Но когда он поднял лицо, оно было спокойно. Насколько может спокойно быть лицо человека, у которого от боли разламывает руки.

— Я же ничего не требую от вас. Даже — бюллетеня, — сказал он. — Правда, я работаю в партии не на полную силу. Но я и приехал сюда потому, что здесь вы.

Вовкина фраза насчет коллективной глупости, сказанная в запале, была не из самых умных. Но почему-то запомнилась мне. Может быть, потому, что здорово задела меня. Я понимал — Вовка свихнулся на своей ртуте. Но чтобы настолько...

22

Человек, о котором я теперь хочу рассказать, в судьбе партии никакой роли не сыграл. Но к нашей истории он имеет некоторое, хотя и косвенное, отношение. Звали его Иван Матвеевич Храпов.

Это был лесничий, в центр вековых нетронутых владений которого мы вторглись со своей грохочущей и всекрушающей техникой.

Внешне дед Храпов, как стали звать его мы, выглядел впечатляюще: короткая растопыренная на щеках борода, ясные и живые для семидесятилетнего старика глаза, почти двухметровый рост. Летом носил он громадные яловые с отворотами сапоги, от которых стонали половицы в нашей конторе, а зимой — высокие, выше колен, сибирские чесанки.

В первый раз он прибыл к нам через месяц после нашей десантной высадки. Был преисполнен важности своей инспекторской миссии, и мне пришлось целый день сопровождать его по территории и давать объяснения бесчисленным мелким нарушениям во вверенном ему хозяйстве, как любил выражаться дед Храпов.

У строгого деда были две слабости, и мы их вскоре обнаружили. Он предпочитал уважительное к себе отношение (вернее — к своей должности), а слегка подвыпив, любил делиться фактами своей извилистой биографии (тоже его выражение).

Однако особых извилин его биографии нам познать не удалось, так как все свои семь десятков дед Храпов прожил безвыездно в здешних местах. Он знал тайгу, но знал ее по-дилетантски, как, впрочем, большинство встреченных мною таежных жителей, чьи знания диктуются сугубо утилитарным к ней отношением. Он, к примеру, знал, что еловая щепочка, прибитая к стене, изгибается к непогоде. Но почему это происходит — объяснить не мог. Или вместе с мудрой историей медвежьих спячек он мог «на полном серьезе» рассказать легенду гибели на пороге некоего золотопромышленника, утопившего «шесть пудов» золота — легенду, живущую на всякой порожиистой сибирской реке.

Обычно происходило так. Проинспектировав наш участок, дед Хра-

пов садился в моем кабинете и, наморщив лоб, начинал шуршать бланками актов. Все, кто были в кабинете, на этот момент почтительно затихали. Любое замечание деда вызывало мгновенное согласие. Причем усиленно подчеркивались мудрость и своевременность этих его замечаний. Дед сначала подозрительно косился, потом все же размякал и, сделав устное внушение, прятал в папку так и незаполненные бланки.

К этому моменту у меня на столе лежала записка радиста, извещавшего, что вертолет с таким-то грузом вышел к нам и будет через пятьдесят минут.

Когда грозная папка окончательно захлопывалась, я требовал в кабинет радиста и, демонстративно глядя на часы, говорил строго:

— Вызвать вертолет для Ивана Матвеича через э... пятьдесят минут. Ясно!

— Ясно! — отвечал радист.

Потом я провожал Ивана Матвеича к вертолетной площадке, и старик, грохоча своими броднями, уходил из конторы, слегка придавленный вниманием, оказанным стражу лесного хозяйства.

Если же вертолет задерживался, мы уводили деда в столовую, и он «откушав», начинал свои бесконечные истории. Когда наконец приходила эрдэ, меня извещали запиской, и вся сцена с «персональным» вызовом вертолета повторялась слово в слово.

Поскольку вертолет задерживался довольно часто, то историй я насчитал бесконечное множество. А некоторые знал наизусть.

И вот однажды — случилось это уже на второй год — дед Храпов поведал о том, как его покойный отец мыл золото в отрогах Топхана. Короче — был старателем. Ничего в его рассказе оригинального не было, но, разумеется, фигурировали «фартовые» находки, бутылки, наполненные «тараканами» — мелким самородным золотом, — заваленные шурфами старатели-одиночки и прочее. Я слушал вполуха, время от времени поддакивая. Но вдруг одна фраза деда насторожила меня, и я переспросил:

— Как вы сказали? Что мешало мыть?

— Да говорю — золотишко неважноецкое, а железяку и кровавику много было, — пояснил дед Храпов, польщенный моим вниманием. — Он тяжелый, кровавик-то, почти как золото. Попробуй отмой, отдели. Отец умирал и то вспоминал: ух, говорил... ядский лемент, скоко крови с меня попил.

— Где ваш отец старательствовал? — Я затаил дыхание.

— Да вот по Топхану, говорю же.

— А конкретней. Ну — район, речка.

— Эва чего захотел, Михалыч! — пробормотал он. — Ежли отец и говорил — дак я шут его помню! В те поры мальчишкой был.

— Ну хотя бы: по ту сторону отрога или по эту? — допытывался я.

— Как вроде там, — сказал дед, склонил вдумчиво голову и добавил: — А може, и здесь... Нет, не спрашивай, — махнул он рукой. — Ничего не помню, а врать не горазд.

Я заволновался.

Дело в том, что кровавиком старатели называют киноварь. Яркие красные знаки этого минерала, имеющего большой удельный вес, оседают на дне лотка, засоряя шлихное золото.

Никакие мои наводящие вопросы успеха не имели. Тогда я достал карту, оставленную мне Канончиком, развернул перед дедом. Он долго и добросовестно таращил в нее глаза, шевелил губами, читая названия; наконец, взмолился:

— Да шут тебя задери — в глазах рябит! А почто замарано много?

— Вы не на замаранное глядите, а вот тут, где еще чистое, — уговаривал я.

Дед даже вспотел от напряжения: в топографии он явно был не силен.

— Кривулин-то, кривулин! — бормотал он, склонившись, шурша по карте бородой. Потом искоса глянул на недопитую бутылку, взмолился!

— Михалыч, душа-человек! Сколько годов прошло! Плесни ты мне еще малость и отпусти душу на покаяние — вызывай верхолет! На кой ляд тебе это золото спонадобилось?

Я стал объяснять, что меня не золото интересует, а этот самый кровавик. И почему именно. Иван Матвееч внимательно слушал.

— Эва что, — сказал он. — Я сам-то не видел, врать не горазд, а помню с чего? Уж шибко отец этот лемент костерил.

Глядя на мое откровенно расстроенное лицо, Иван Матвееч сказал:

— Ладно, шут тебя, может, вот что. Брат у меня в Александровке живет, старшой. Восемьдесят годов с лишком, однако же на ногу еще хлесток, побегивает. Может, свидимся как — поспрошаю.

«Знаем мы вашего брата, — подумал я. — Ждать — дело дохлое. Сегодня «побегивает», а завтра...» Я вышел и тут же дал команду: позвонить на горный участок, пусть разыщут Канончика и срочно отправят вниз, в поселок. Я подчеркнул: срочно! А Ивана Матвееча заставил повествовать, как он в молодости сплавлял по реке дом — был у него такой жизненный эпизод...

Когда появился Вовка, я в трех словах объяснил ему суть дела. И добавил:

— Лети сейчас с Иваном Матвеечем и любыми путями добирайся до поселка Александровка — Иван Матвееч расскажет. Думаю, трех дней хватит.

Вовка во второй этот наш летний сезон крепко сдал. Брюшко его уже не выпирало плафончиком. Лицо, обожженное частым употреблением диметила, шелушилось, глаза потемнели и ввалились — должно быть, он здорово недосыпал. Выслушав меня, он заметно оживился, а когда мы выходили, шли через коридор, положил мне руку на плечо и слегка сжал.

— Спасибо, Толик.

— Кушай на здоровье, — буркнул я.

Потом я стоял и долго глядел, как уходил по распадку вертолет. Вечернее солнце светило косыми, дымными лучами. Над сливающейся

с фоном тайги зеленой машиной висел сверкающий нимб. Потом и он пропал. Ах, какая шла в Вовкины руки удача, совершенно фантастическая, немислимая, о какой и подумать-то в обычное время боязно!

23

Вернулся Канончик через неделю — задержала дорога.

Брата Ивана Матвеича он разыскал, но ничего, что добивался от него Канончик, тот рассказать не смог: тоже не помнил. Однако он подтвердил, что да, кровавик в старательском лотке отца встречался. Он даже назвал два золотиносных ключа по Топханскому хребту, но именно те ли это были ключи, утверждать с уверенностью не хотел.

— И еще он назвал речку Чернявую, — сказал Вовка.

Я взглянул на него.

— Все же назвал?

— Да, — Вовка вздохнул, — но дело в том, что Чернявую я уже отшлиховал. Один-два знака на шлих — обычное дело. И я не встретил там ни одной старательской закопушки, ни одного отвала. Хотя в других местах шурфы попадались. Вернее — следы от шурфов. Но ты знаешь, — Вовкины глаза заблестели. — Несмотря ни на что, я чертовски доволен. Это же первое реальное подтверждение моей догадки. Если не считать моих собственных, еще студенческих находок.

— Может, стоит вернуться на Чернявую? — подсказал я.

— Не знаю, надо подумать. Вернуться никогда не поздно. — Вовка провел ладонью по заросшему недельной щетиной подбородку, по шелушащимся скулам, сказал внезапно дрогнувшим голосом: — Выдыхаюсь я, старина. Физически выдыхаюсь. В прошлом маршруте ушиб ногу, так себе, пустяк ушиб-то. Веришь — от этого пустяка в паху шишка вздулась, еле докарабкался... Так что ты планшет за мной отменяй аккуратно... — добавил он вдруг и виновато улыбнулся. — На всякий пожарный... знаешь...

Я смотрел на друга, и у меня царапало горло: Вовка жаловался. Хоть и тихо, и мне одному, но все равно — было тяжело. А намек на тщательный контроль его походов — тут было о чем задуматься. Если с ним что случится — ни Брониславу, ни тем более мне, начальнику партии, допустившему самовольные маршруты черт знает с какими целями — головы не сносить.

Остановить Вовку можно было только административным приказом по партии.

Я поделился своими сомнениями с Брониславом.

Тот выслушал меня и проговорил с решительностью, которой я не ожидал:

— Надо запретить. Есть же какой-то предел. Погляди, на кого он стал похож? Я не наказания боюсь, ты ведь понимаешь.

Я возразил:

— Но это значит прослыть его врагом на всю жизнь.

— Лучше слыть врагом друга, чем быть другом покойника, — от-

ветил Бронислав, и брови его задвигались; как всегда, когда он сильно расстраивался.

Я тут же сел и, сжав зубы, написал приказ, запрещающий участковому геологу Канончику длительные одиночные маршруты. Прежде чем подписать, решил все же вызвать Канончика и дать прочесть. Так сказать, ознакомиться и расписаться.

Вовка прочитал приказ с застывшим непроницаемым лицом, только кадык его дернулся, когда Вовка, дочитав, сухо сглотнул.

— Дай мне бумаги,— с короткой хрипотцой потребовал он.

Я пожал плечами, передвинул по столу пачку.

Он взял лист и быстро, молча, кривя углы рта, стал писать. Потом протянул мне. Это было заявление об увольнении по собственному желанию.

— Я поставлю свою частную палатку рядом с вагончиками. Надеюсь, меня не прогонят?— спросил он, и в глазах его вспыхнул откровенный вызов и презрение.

«Форменное идиотство»,— подумал я.

Перегнувшись через стол, я выдернул из-под его руки приказ и, не произнося ни слова, сложил листок вдвое, разорвал. Клочки смял и бросил позади себя в корзину.

Вовка пронаблюдал за моими действиями, потом, не взглянув на меня, забрал заявление — тоже порвал.

Молчание затягивалось. Мы были в кабинете одни.

— Упрямый дурак,— сказал я.

Вовка поднял голову, взял у меня со стола коробку сигарет и долго выщипывал сигаретину. Искривленные ревматизмом пальцы его не слушались. Он перехватил мой взгляд, и глаза его стали беспомощными.

Вовка тяжело, грубо выругался.

24

В это лето приехала Алиса, стала работать в лаборатории. Комната, в которой они поселились с Вовкой, предназначалась Афузовым. Однако Наташа, пожив в поселке две недели, вынуждена была уехать — с головными болями, с плохим общим самочувствием. Здешний высокогорный климат оказался явно не для нее. Бронька вернулся в нашу общую холостяцкую квартиру, а комнату заняли Канончики.

Сам Канончик редко спускался в поселок — походы на южный отрог отнимали у него все свободное время. Алиса, смеясь, называла себя соломенной вдовой.

Дома наши стояли в одном порядке, почти по соседству, и лаборатория от конторы отстояла в двухстах шагах, но виделись мы не часто. В конторе я появлялся только утром и ненадолго, остальное время пропадал то на строящейся дороге, то на вышках, и домой возвращался поздно.

Как-то Алиса встретила меня посреди улицы, взяла под руку и проговорила кокетливо-обиженным тоном:

— Толик, лапа, забежал бы вечером, развлек бедную вдовушку. А заодно и плитку наладил: вторую неделю всухомятку питаюсь, кошмар.

— Печку бы затопила,— посоветовал я.

— Так дров нету.

— Нарубила бы.

— Так некому.

— Бедная,— сказал я.— И пожалеть-то тебя некому.

— Вот на этот счет ошибаешься,— Алиса вызывающе прищурилась.— Желающих сколько угодно.

— Лисанька, некрасиво,— укоризненно сказал я.

— А заставлять молодую женщину уговаривать себя — красиво?

— Тоже нет, прости... Ну ладно,— сдался я,— хоть предлог банальный, приду. Я по тебе соскучился.

— Правда? — спросила она с такой искренностью, что я смутился.

Волосы она перекрасила — в цвет медно-фиолетовый, он шел ей, и я не преминул сказать об этом.

— Ой, Толик, спасибо.— Она потрогала ладонью прическу, глаза ее заблестели.— Первый комплимент за тутушное житье, с ума сойти.

— Первый ли? — усомнился я.

— Считала! — убежденно проговорила Алиса.— Скажи еще что-нибудь приятное.

— Вечером, Лисанька, вечером,— засмеялся я.— Ценность вечернего комплимента значительно выше. Только учти, я приду с работы поздно. Чтобы накормила ужином.

— Ты моя пре-елесть,— пропела Алиса радостно.— Поцеловала бы, да жаль — губы накрашены!

25

За окнами сгущалась темнота, когда я на тягаче въезжал в поселок; вечерние сумерки уже укрыли распадок, электрические огни зеленатовато фосфоресцировали, предвещая ночную грозу. Небо было непроницаемо тяжелым, в невидимой глубине его мягко погромыхивало.

— Быть грозе! — сказал я, войдя к Алисе.

Теперь я сидел у нее, передо мной на табурете громоздились детали разобранной электроплитки. В честь моего посещения топилась печь, что-то вкусно шипело и булькало: Алиса в домашнем халатике и шлепанцах на босу ногу бегала от стола к печи, готовилась поразить меня каким-то своим кулинарным шедевром.

Мне, честно признаться, осточертело наше холостяцкое жилье, где я почти всегда был один. И теперь я с удовольствием пребывал здесь, в чистоте и уюте, наведенном женской рукой, деловито копался в железках. Я был голоден, а от печи так раздражающе вкусно пахло! Время от времени я недовольно ворчал, мол, неприлично томить гостя, сколько можно, не пора бы и т. д.

Потом мы сидели за столом, передо мной дымилась тарелка с

круглыми котлетами, начинёнными зелёным луком — забыл, как это называется, — и другая тарелка с жареной кубиками картошкой. Бил в ноздри потрясающий запах сухого укропа.

— Ну, Лисавета, — бормотал я набитым ртом. — Ну, женщина!

Алиса ела маленькими кусочками, посмеивалась.

— Это в тебе говорит брюхо. Ты пока лучше помолчи.

— Хорошо, молчу. Но знай, к таким котлетам тебе нужен приличный муж. К примеру, как я. Ценитель.

— Кошмарное предложение.

— Бросай ты своего толстого фанатика. Прозябать на горе, когда тут котлеты!

Алиса рассмеялась.

— Он значительно потоньшел.

— Все сходится, — сказал я. — Такова судьба всех фанатиков.

За окном полыхнула белая вспышка, с сухим треском покатился гром. Алиса поднялась закрыть форточку, а когда снова села — на лице ее не было улыбки. Она сказала:

— Толик, я боюсь за Канончика. Я просто боюсь за него.

Я вопросительно помолчал, перестав жевать.

— Ночами он стонет, стал злой, раздражительный, просто ужас какой-то, — она подняла на меня взгляд. — Ему помочь надо.

— Как?

— Не знаю, — сказала Алиса.

— Вот видишь. — Я заскреб вилкой по тарелке. Разговор этот значительно умерил мой аппетит. — Почему бы тебе не отговорить его от этой авантюры?

— Что ты, лапа, — она покачала головой. — Стольким пожертвовать, а теперь отказаться. Нет, если он отступит, я его первая запрещаю.

— Он же угробляет себя, — напомнил я.

— Вот я и твержу: помоги. Ты же начальник партии. Как сам говоришь: бог и царь, и кривой Миколка. Освободи его от работ на террасе, ну... неофициально, конечно. Ведь половину времени он тратит на переходы. Они изматывают его. Два года без отпусков и выходных. Это же кошмар.

Я выпил компот, прошелся по комнате, потом сел на раскладушку у стены, закурил.

— Не могу я этого сделать.

Алиса стучала посудой, убирая со стола.

— Вы же друзья, — сказала осуждающе, подошла, села рядом, вытирая полотенцем руки; заглянула мне в лицо.

Я курил и молчал, Алиса сидела рядом притихшая, как провинившаяся девочка, сощипывала с халатика пушинки.

Лампочка над нами вдруг замигала и медленно погасла.

— Черт, что там у них стряслось? Свечка есть?

— Гроза же, — вздохнула Алиса. — Посидим так, это ненадолго.

Из темноты стали проступать очертания комнаты. За окнами беспрерывно вспыхивало; мерцающе вспыхивали вслед флаконы на тум-

бочке, зеленовато светился гранью забытый стакан на столе. Под Алисой проскрипела раскладушка — мы сидели рядом, почти вплотную.

— Ты-то почему так уверена? — спросил я.

Алиса вздохнула, по моей руке скользнула ее теплая сухая рука.

— Мужчина, Толенька, должен быть удачлив. Иначе ему незачем было рождаться мужчиной.

«Узнаю Канончиковы интонации», — я усмехнулся. Ладонь ее мне мешала. Но я не мог ей этого сказать. И даже убрать руку не мог, не хотел. Что-то во мне затормозилось. Алиса явно нарушала ею же самой установленные правила.

Вдоль оконных переплетов потек радужный блеск — начался дождь. Алиса все теснее прижималась ко мне.

— Лисанька, ты думаешь, я железный? — спросил я ласково.

— Вот уж совсем не думаю. — Она тихо засмеялась. — Ты деревянный.. А ты помнишь, — перешла она вдруг на шепот, — я как-то купалась у вас, а ты влетел. Вот тогда ты показался мне железным. До чего глупая у тебя физиономия была — кошмар. Признайся, я тебе нравилась, а?

Я бы мог сказать «да, но не очень», и был бы недалеко от истины. Однако вместо этого я обнял ее за плечи, и она будто ждала — легко прикоснулась ко мне плечом.

Гром рокотал без перерыва, как заведенный, дребезжало на посудной полке стекло, в окнах пульсировал свет молний. Такое было ощущение: мы нырнули и едем по длинному зыбкому тоннелю.

— Я, кажется, сойду сейчас с ума, — сказала Алиса одними губами. — Хочешь, я сойду с ума?

«Мы, кажется, оба сейчас сойдем с ума», — подумал я.

Лампочка на грубом изогнутом шнуре вдруг зажглась, обдав нас безжалостным ярким немигающим светом. Словно в комнату вошел кто третий и щелкнул выключателем.

Алиса слегка отстранилась, щурясь. Стала поправлять прическу. Под ее ладонями слышалось быстрое сухое потрескивание. Она не глядела на меня.

— Ой, — наэлектризовалась, — сообщила она удивленно и, обернувшись ко мне, запустила пальцы в мои волосы. — А ты, лапа?

В глазах ее дрожали смущенные чертики.

— Деревянное не электризуется, — сказал я.

Вторая наша осень на Топхане застала нас уже на участке Заповедном. Терраса была отбурена на всех проектных точках. Промышленных руд она не дала. Буровые бригады одна за другой перебирались на участок Заповедный. Дорога в обход кара, по руслу ручья, была пробита начерно. Однако мы ринулись по ней, боясь скорого подъема воды. Над ручьем стоял вой тракторных моторов. Сани ломались, не выдерживая чудовищных перекосов дороги.

Последний гусеничный поезд шел по вздувшимся бродам, через оползни жидких наносов. Вперемежку с дождевой промозглостью сыпал снег.

Снег в ту осень вообще начал падать рано, с последних дней августа. Ночью падал, приминая травы, а днем испарялся. Пестро-белые шапочки на макушках гольцов с каждой неделей опускались все ниже.

Тот памятный звонок раздался рано утром, у меня дома, когда я еще спал. Звонил с Заповедного Бронислав.

— Послушай, Анатолий, — сказал он, и по тому, как он назвал меня по имени, а не дружески-ироничным «начальник», я понял: что-то произошло. — Ты понимаешь, Вовка не вернулся.

— Когда он ушел? — спросил я и зачем-то посмотрел на часы: было начало седьмого.

— Пять дней назад, в прошлую пятницу.

— Пять дней? — с меня мигом слетели остатки сна. — И ты звонишь мне только сейчас?!

— Да ты погоди, — остановил он. — Условились мы с ним на четыре дня. Он должен был вернуться вчера. Я же обязан тебя предупредить...

«Что ж, — со злой ожесточенностью подумал я. — Когда-нибудь это должно было случиться».

— Ты думаешь, что-то серьезное? — спросил я его.

— Завтра не нарисует — надо принимать меры, — проговорил уклончиво Бронислав и помолчал. — Не знаю, как у вас там, а здесь снег по колено. И уже третий день не тает...

Я был зол на Канончика. И не только за то, что своими бессмысленными поисками он держит всех нас в постоянном напряжении. Особенно Бронислава, который с ним рядом. Самым серьезным образом он разозлил меня, когда последний раз спускался в поселок — помыться в бане, погреть свой ревматизм.

Вовка напился. Напился, как свинья, что с ним случилось впервые, устроил истерику. Соседа, пришедшего его успокоить, он выгнал. Алиса, перепуганная, в слезах, прибежала за мной.

Когда я вошел к нему, Вовка лежал на разворошенной постели. Бледное, потное лицо было запрокинуто. Глаза его с трудом остановились на мне.

— Кто тут еще? Кого... все вон! — бормотнул он и скрипнул зубами.

— Хорош. — Я сел рядом, потряс его за плечо.

Он наконец узнал меня.

— Начальник, — натужно всхлипнул он, пытаясь подняться и сесть. — Толик... старина...

— Лежи, лежи, — сказал я. — С чего набрался?

Он покорно лег: пребывал, видать, после истерики в трансе; правая рука его вяло комкала простыню.

— Все, старина, Толик. Уползаю с ковра. Проиграл по очкам...

— Ты о чем? — спросил я.

Вовка уставился на меня, глаза вразбежку.

— Проклятые места... ни черта здесь не будет. Хоть сдохни. Крест на все, крест!.. Выдохся.

— Алиса, — позвал я. — Сделай-ка чаю, да погуще. Отпаивать будем алкоголика.

— К черту чай, — сказал Вовка неожиданно трезвым голосом. — Я же сказал, ничего! Никто не понимает... И ты не понимаешь. Ну ладно... Дохлые, гнилые места. Руды нет. Хоть взорви всю эту систему.

— Так ты по случаю нашей неудачи? — я усмехнулся.

— И нашей, и вашей... Все закономерно. Нету здесь руды, Толик. Бронькина медь. — Он замолк, отвернулся к стене и вдруг с силой рванул простынь. — И не было, олухи! — крикнул он в стену, и лицо его будто раздвоилось в гримасе, он заплакал.

Я понял, делать мне здесь нечего. Вовке сейчас не требуется ничего, кроме крепкого сна.

— Давай на эту тему, если хочешь, потолкуем завтра, — сказал я подымаясь.

Вовка поймал меня за колено, привалился грузным расслабленным телом, всхлипнул:

— Прости меня, Толик, старина. Перед тобой... Только перед тобой... Прости.

Алиса стояла в сторонке с испуганными остановившимися глазами.

О чем он? Мне вдруг стало противно в нем все — его потное в мелких гримасах лицо, трясущиеся толстые губы. Сосульки волос вдоль ушей, — да Вовка ли это Канончик, черт поberi меня совсем!

..Наутро он ушел на гору, даже не взглянув ко мне. Только передал записку: «Старина, если можешь, извини за вчерашнее. Помню смутно (рассказала Алиса), но все равно мерзко на душе. Нервишки расслабли. Больше не будет. Возвращаюсь на правый борт Чернявой, чтоб она сдохла. Канончик».

27

Весь этот день после утреннего Бронькиного звонка я проторчал безвыходно в поселке, хотелось быть поближе к телефону. Однако Вовка так и не «нарисовался».

На рассвете следующего дня, расстроенный самыми мрачными предположениями, я пошел пешком на участок Заповедный — бродя на дороге стали уже непроезжими.

Я шел вдоль высоковольтной линии, через террасу — этот плоский кусочек осенней тундры. Мох и камни, и рощицы темно-зеленого стланника были слегка присыпаны порошей. Округлая вершина Топхана, всегда напоминавшая мне укрытое одеялом колено, мрачно освещивала в светлеющем небе. Пустыня и тишина; безмолвие и враждебность космоса.

Площадки, где стояли вышки, угадывались по перепаханной гусеницами земле, по разбросанному хламу. Смятые бочки, обрывки тросов, груды консервных банок, какие-то железные кожуха, трубы, тряпье —

безрадостные следы временной торопливой работы. А вон длинный шест с белой располосованной ветром тряпкой — визуальный знак вертолетной временной площадки. Сиротливый знак! Я, точно отставший солдат, шел по этому безмолвному полю, где мы и не отступили, и не выиграли боя.

На Заповедном меня уже ждали и были готовы. Вышли мы на поиски втроем — Бронислав Афузов, буровой мастер Тудегешев с собакой и я. Мы долго решали: на лыжах идти или без лыж. Дело в том, что снег здесь в самом деле лежал по колено, однако лишь в низинных затишных местах. На открытом же пространстве, на возвышенностях и притоках было по щиколотку, а кое-где и совсем голо.

Вся статья была отправиться на лыжах — легче и быстрее. Однако Тудегешев, охотник и знаток тайги, рассудил так. У Канончика лыж-то нету, значит, он будет выбирать малоснежные гольцовые места. Если мы пойдем на лыжах, шансы разминуться с ним возрастут.

И мы отправились пешим ходом, взяв лишь одну пару на плечо. На случай, если понадобится соорудить нарты.

До бассейна реки Чернявой по карте около двенадцати километров. Значительная доля этих километров падала на перевал под характерным названием Потогонный. Мы поднялись по его заболоченным изволокам часа за два — мокрые, как мыши, и я подумал: а ведь Вовка ходил здесь постоянно. И гнилая тропа эта — преимущественно им натоптанная. Какие же столбы комарья нависают здесь над всем живым в летние душные дни!

С перевала открылась даль — пестрые от снега гольцы, залитые черной тайгой низины, уныло-неоглядная хмарь горизонта. Я поглядел в бинокль: зубцы пихт по гривам, спутанные ленты ручьев, лохмато-серый кочкарник — удручающие подробности таежной предзимней панорамы.

Где здесь искать человека? Можно пройти в тридцати шагах от него, припорошенного снегом, и не заметить. Я растерянно опустил бинокль.

Я уже страшно жалел, что не проявил в свое время твердости. Прав Бронька; лучше прослыть врагом друга, чем быть другом покойника.

Тудегешев выстрелил из карабина. Мы стояли на седловине перевала, и даже эхо не вернулось к нам — словно в океан кануло.

Мы начали медленный спуск.

28

Что ни говори, а витала над Вовкой Канончиком птица удачи.

Осталась в стороне перевальная тропа, мы пересекли каменную осыпь и по мелколесью, на границе тундры и тайги — редким зарослям пихтача, — взяли направление к истокам Чернявой.

Не прошли мы и полутора-двух километров, как призывно-настойчиво залаяла убежавшая далеко вперед собака. Где трусцой, где быст-

рым шагом, оскользаясь на травяных оледенелых кочках, мы ринулись на лай.

Под разлапистой пихточкой, привалившись спиной к стволу, сидел человек. Грязная корябая штормовка была на локтях продрана. Спрятав руки в рукава и уткнувшись в них лицом, он спал. Собака, стоя в отдалении, лаяла на него, и в знак того, что человек этот был ей знакомый, помахивала хвостом. Рядом чуть дымился давно погасший костер.

Мы тормозили Вовку за плечи, кричали над самым ухом, приподымали ему голову. Он снова сонно ронял ее на руки.

Тогда мы подстелили наши спальные мешки и свалили на них Вовку: пусть поспит в нормальном положении, подождем. А сами взялись разжигать костер и кипятить чай.

Я всмотрелся в лицо спящего. Почерневшие, с пузырями от простуды губы его были скорбно сжаты. От крепко зажмуренных глаз в щетину усов и бороды тянулись две грязные бороздки. Ночным ли холодом выжаты были слезы, или нечеловеческой усталостью, или просто отчаянием одиночки, застигнутого в тайге непогодой?

Из свитера, запасных полотняных, рукавиц я скрутил подушку, подстелил Вовке под голову.

И только тут, собирая для костра хворост, мы заметили в стороне рюкзак. Тот самый зеленый десантный рюкзак, с которым Канончик впервые прилетел в поселок. Теперь он был уже не зелен, а грязно-сер и тяжел необыкновенно. Я распустил шнуровку. Взял в руки лежавший сверху угловато обломанный камень. Он был кроваво-красного цвета, с белыми блестками — крохотными капельками самородной ртути. Я отломил ногтем несколько крошек, потер в ладонях: словно кровь из ладоней выступила. И вправду — кровавик...

Рюкзак стоял на нескольких связанных пихтовых лапах. По заснеженному мху, по хвое тянулся след волока. У Вовки уже не было сил нести, но и бросить он не мог: начались снегопады...

29

...Он брел по Чернявой кромке поймы и вдруг провалился в какую-то яму. Оказалось — тщательно укрытый горбылями и замаскированный дерном старательский шурф. Дерево прогнило и не выдержало Канончика. Он сильно ушиб колено и испугался: в таких наглухо закупоренных выработках скапливался нередко газ. Он торопливо нашарил спички, зажег. Спички горели ярким, ровным пламенем — значит, все в порядке. Тогда он осмотрелся.

От основания шурфа уходил в сторону горизонтальный ход-рассечка. Уходил он, вероятно, в борт реки, в коренной берег. Подсвечивая себе спичками, Вовка полез в рассечку. Убедился: крепление сделано мастерски. Вот и забой. Валяются ржавая лопата с короткой рукояткою, кайла, железная старательская щетка, несколько свечных огарков. Он зажег огарок. Гребешком стоят коренные известняки. Выметены, выскоблены дочиста, до пылинки. Значит, золотишко было.

Вовка снял с плеч рюкзак, вытряхнул пожитки, набил его песком и пополз к выходу. Цепляясь за прогнившие венцы крепи, выбрался наверх. Тут же на берегу промыл два лотка и трясушимися от пережитого напряжения пальцами разложил на бумаге пробы. Среди черной кашицы магнетита тускло заиграли несколько пылинки золота. Он всматривался и боялся верить глазам: четкой дорожкой раскладывались в лупе красные знаки киновари. Он насчитал больше ста и сбился. Важнее всего, что среди них попадались совершенно неокатанные, милые угловатые песчинки. Ему сразу стало жарко. Таких проб с кровавиком у него еще не было.

Тогда он соорудил лестницу — опустил в шурф пихту с крепкими, коротко обрубленными сучьями. Старательским обушком стал крушить забой. Работать приходилось сидя, согнувшись в три погибели, не хватало воздуха. Он выкарабкивался на поверхность, отдыхивался. И снова заползал в рассечку, брался за гладкую, как кость, рукоять обушка.

Истекли четыре отпущенные ему дня. Надо было возвращаться. Выбравшись однажды из шурфа, он был ослеплен: весь берег, крутые склоны сопки, деревья вокруг припорошены были снегом. Даже гора извлеченной им породы напоминала свежий сугроб. Только речка в полусотне шагов была дегтярно-черная да вдоль заберегов темнела строчка следов только что пробежавшего зверька, вероятно, выдры...

Он понял: если сейчас уйдет, вернуться сюда нынче уже не сможет.

Время от времени он толкал на камне извлекаемую породу, промывал порошок и с жадностью, с больно бьющимся от бешеной усталости и переживаемой надежды сердцем убеждался: есть киноварь, здесь она, родимая, никуда не делась.

Когда он уходил с Чернявой, шатаясь под тяжестью рюкзака, был снегопад — с вихревым суматошным ветром, ржавым скрипом деревьев, внезапными сумерками среди дня. Несколько раз по глазам ему ударила молочно-белая вспышка — он не понял сразу, что такое. Но тут же мягко, отрывисто загрохотало небо. Вовка, пораженный, остановился: шла редкая, даже по этим местам, снежная гроза.

И Канончик, смеявшийся над приметами и предсказаниями, начисто лишенный суеверия, воспринял это удивительное явление природы как предзнаменование своего выстраданного успеха.

С рюкзаком добытых образцов Вовка Канончик первым же вертолетом улетел в город, в управление. Лабораторные анализы показали высокое содержание минерала.

Сам он в поселок уже не вернулся.

Уехала и Алиса, оставив мне на попечение кое-какие громоздкие вещи, в том числе и выючный, окованный алюминиевым уголком ящик, набитый литературой.

Месяца через два я был по делам в управлении. Там и узнал: создается поисково-разведочная ртутная партия. Район работ: Топхан, речка Чернявая. Начальником ее будет Владимир Канончик — без пяти

минут первооткрыватель. Что ж, все закономерно... Я разыскал Вовку и от души поздравил его.

Наши дела шли все хуже.

Собственно, хуже — не то слово. Мы добросовестно отбуривали участок Заповедный — второй и последний в проекте — наши сводки по выполнению буровых работ выглядели удовлетворительно, зарплату мы получали вовремя. Зимняя дорога действовала исправно, если не считать бесконечных заносов и снежных лавин, особенно участвовавших к концу зимы.

Все катилось своим чередом.

Однако это была внешняя, так сказать, сугубо производственная сторона дела.

Другая же сторона характеризовалась одним: полным отсутствием на скважинах руды. Точнее — руда выскакивала, но она продолжала выскакивать такими мелкими и разрозненными телами, что о промышленном их освоении не могло быть и речи.

Среди наших оракулов-теоретиков начались разногласия. Всерьез заговорили об ошибочности прежнего взгляда на природу Топханской магнитной аномалии.

Вскоре я в партии лишился Бронислава Афузова. Постоянные наши неудачи, большие и малые, всегда напряженное чувство ответственности, связанное с бесконечными отлучками Вовки Канончика, привели к тому, что Бронислав заболел — жестокой нервной экземой. Он был отправлен в город на длительное лечение.

30

С самой ранней весны в стороне от нас высоко в небе затахтели вертолеты, державшие курс на южные отроги Топхана, в бассейн Чернявой.

Судя по их интенсивности, дела у Канончика разворачивались всерьез и с солидным размахом.

Вместе с тем наши полетные лимиты были резко сокращены. Почувствовали мы ущемление и по другим позициям. Становилось ясно: экспедиция наша, в чье подчинение была передана новая Чернявская партия, по одежке растягивала ножки. Перспектива ртути, упавшая с неба, была слишком заманчива. Она представляла единственную реальную возможность хоть как-то компенсировать Топханскую неудачу — и материально, и морально.

Было ясно и другое. Если ртуть Чернявой подтвердится даже в минимальных промышленных объемах, ее оттуда выцарапают без дороги, вывезут по воздуху: такова в ней потребность страны.

Вскоре мне удалось побывать у Канончика, в его палаточной деревне в среднем течении Чернявой. Я познакомился с проектом работ по разведке киновари. Проект был безупречен, логически четок, аргументирован и опирался на отличное знание геологии района. Явно ощущалась талантливая Вовкина рука.

Я понимал: Вовка ждет от меня оценки, может быть, даже откровенной похвалы — и вполне заслуженной! Но я, каюсь, промолчал. Хотя мне было нелегко. Он, верно, решил: во мне зашевелилось чувство зависти. Чувство, которое далеко не во всех жизненных обстоятельствах выглядит симпатичным... Однако дело было в другом, совсем в другом...

31

В середине лета — третьего нашего лета на Топхане — я получил эрэд за подписью Канончика. Смысл ее был короток и ясен: жди в гости.

Прилетел он специальным рейсом, на маленьком санитарного типа МИ-1. Одно это само по себе уже выглядело впечатляюще. Я понимал: для частных гостевых визитов спецрейсов не берут, значит, Канончик прибыл с какими-то иными целями и задачами. И прибыл он не один, а с супругой, то есть с Алисой — ну прямо тебе премьер какой-нибудь банановой державы.

На Вовке была синяя прорабская куртка, однако тщательно отглаженная, белая рубашка и строгий темный галстук. Стиль интеллигентного руководителя среднего звена с демократическим уклоном. Он обнял и стиснул меня так, что во мне что-то пискнуло, да и по глазам его и физиономии видно было — рад мне и не хочет скрывать этого.

Алиса в розовом просторном плащике не подбежала, как обычно, а степенно подплыла, предупредив «не обнимай меня, нельзя», оставила поцелуй где-то возле моего уха. Она прикоснулась ко мне, я почувствовал ее тугой округлый живот.

— Лисанька, что я вижу, — не удержался я, окидывая ее взглядом, — ужели?

— Фу, бессовестный, вытаращился. — Она ударила шутливо меня по руке. — Никогда не видел женщин в интересе?

— Тебя — нет.

— Представь себе, решила. Уродливо, правда?

— Что ты, — сказал я, — тебе идет.

Алиса снисходительно улыбнулась.

— Хотела бы я видеть женщину, которой это идет!

Мы прошли ко мне домой. Я показал Алисе, где лежат продукты, облек ее всеми хозяйственными полномочиями, и она занялась обедом. А мы с Вовкой отправились на обход поселка — таково было его первое и неперемнное желание.

Когда мы спустились с крыльца, я спросил:

— Ты что, не видел поселка, что ли?

— Видел, но другими глазами, — уклончиво сказал Вовка и взял меня под руку. Этот покровительственный жест насторожил меня.

— Значит, ты уже завел сменные глаза? — насмешливо спросил я.

— Ладно, — сказал Вовка. — Можешь считать, что я прибыл с официальной миссией.

Я выжидающе молчал.

— Сколько тебе осталось добуривать по проекту?

Я ответил.

— Значит, к зиме начнешь сворачиваться?

— Может, начну. А может, и нет.

— Начнешь, начнешь, — уверенно сказал Вовка.

Мы как раз проходили мимо общежития, длинное бревенчатое строение которого когда-то предназначалось под школу.

— Ух, капитальный домина, — сказал Вовка приценивающим тоном. — Квадратов двести, а?

— Да ты что, в конце концов, — не выдержал я, — покупать поселок приехал?

— Зачем покупать, — весело возразил Вовка. — Мы же в одной системе. С баланса на баланс — и все дела.

— Поселок?!

— Не весь, конечно. А кое-что. Наиболее нам подходящее. Например, этот вместительный сарай.

— Сам ты сарай, — сказал я и приостановился. — Это уже решено?

— На высшем уровне, старина. Скоро директиву получишь. — Вовка настойчиво потянул меня вперед. — Да ты что надулся? Радоваться должен, что не пропадает добро. А представь: не развернись работы на Чернявой, ты бы вообще бросил поселок медведям. А так мы его раскатаем и по зимнику, через Заповедный, вывезем. Дешево и сердито.

Все было правильно и логично. Возражать такому разумному решению мог только разве идиот. Я не был, надеюсь, идиотом, но Вовкина весть подействовала на меня самым удручающим образом.

Экскурсия наша длилась часа полтора.

По жилому порядку мы поднялись к самому верхнему краю поселка, и как-то незаметно очутились перед памятником неизвестному изыскателю. За могилой мы ухаживали: она была обложена дерном и обведена каменной оградкой. Сам обелиск и звездочка подновлялись масляной краской.

— А это ты тоже раскатаешь и перевезешь? — спросил я и вдруг сам почувствовал в своих словах раздражение и плохо скрытую издевку.

Вовка нахмурился.

— Перевезем, — сказал он и прикоснулся ладонью к обелиску. Он не заметил ни моей издевки, ни моего дурного настроения. — Тут уж, в глуши, не оставим. И не только перевезем, но и постараемся узнать имя этого человека.

И то, как он прикоснулся к памятнику, и то, как сказал — твердо, без тени рисовки, с убежденностью — было ясно: и перевезет, и узнает.

Мы спустились вниз и повернули к конторе. Вовке потребовалось посмотреть кое-какие документы.

На крыльце конторы, а вернее — сквозь него, росла рябина. Плотники, ставя сруб, сохранили ее по моему распоряжению. За три года

ствол залоснился — кто проведет рукой, кто обопрется плечом. Рябина примелькалась, ее уже не замечали. Видел ее сотни раз и Канончик, и тоже не замечал. Однако сейчас, взойдя на крыльцо, он вдруг остановился и стукнул кулаком по рябиновому стволу.

— Толик, объясни: зачем здесь это? Лбы расшибать?

Я еще был под впечатлением нашей невеселой экскурсии, неожиданный вопрос его застал меня в растерянности. Пробормотав что-то насчет красоты и эстетики, я добавил: обойди, в конце концов, и твой лоб останется в целости.

— Но зачем я должен обходить? — спросил Вовка. — Ведь крыльцо для человека, для удобства ходьбы. Я иду, а тут нате — столб торчит! Если я встречу эту рябину в скверике или в роще, пожалуйста — обойду. Там ее законное место. И даже полюбуюсь ею. Погляди-ка, на ней даже неприличное слово выцарапано!

— Вот уж в этом дерево не виновато, — зло сказал я.

— Возможно, — согласился Вовка. — Но вот с ролью воспитателя эстетики, которую ты на нее возложил, рябина твоя явно не справилась. А даже, как видишь, наоборот.

Идя по коридору, Вовка продолжал:

— Ты давно бывал в старом районе города? Помнишь, первый перекресток от моста? Так вот — на этом перекрестке поставили плакат: соблюдайте правила движения! Может, видел? Огромный, аж до третьего этажа, на бетонных столбах. А шофера едут и матерятся: плакат полперекрестка закрывает! Из-за него, говорят, уже авария была. А поставлен-то он с самыми лучшими намерениями...

Канончик сел за мой стол, а я пошел в бухгалтерию за документами. Когда я минут через десять вернулся, Канончик стоял перед столом, растопырив руки, придерживая скручивавшиеся края ватмана.

— Что сие значит, Толик? — спросил он, подняв голову.

Я глянул — и меня окатило жаром. Это был мой план благоустройства поселка, рисованный некогда с такой тщательностью цветными карандашами. Я уже почти два года не прикасался к нему — не до того было.

— Где ты взял? — я довольно бесцеремонно дернул ватман из-под его рук.

— Да вот, на голову свалился, — сказал Вовка и несколько растерянно кивнул на шкаф, заваленный сверху бумагами. Однако ватмана не выпускал.

— Дай сюда!

— Нет, ты погоди. Мне лично очень даже весьма интересно и любопытно. Главное — топография страшно знакома...

Вовка валял дурака, он прекрасно разобрался, что упало ему на голову.

— Только вот условные знаки непонятны. К примеру, этот значок, похожий на сосиску, которую заглотила сарделька. Шифровка, да?..

Пузатым значком этим на палочке я обозначал, конечно же, рябинки...

Я выхватил злосчастный лист, кое-как скрутил его, стал забрасывать

на шкаф, но рулон все время скатывался. Тогда я попытался зафиксировать его между стеной и шкафом. Лицо мое калил стыд. Надо же было случиться, чтобы тайна, хранимая мною от всех, абсолютно от всех, случайно открылась именно Канончику. Человеку, перед которым мне сейчас меньше всего хотелось раскрываться.

— Фу ты ну ты! — сказал Вовка дружелюбно-насмешливо. — Авторское самолюбие, я понимаю...

— Заткнись, рациональное зерно! Не то за себя не ручаюсь, — зарычал я, не зная, куда деть идиотский рулон: за шкафом он тоже не помещался.

— Сэр, вы забываете мой разряд! — Вовка, набычившись, встал в шутливую позу борца, вышедшего на ковер. — Не угодно ли двойной нельсон?

Ну что с ним, собакой, можно было поделаться! Я размахнулся и стукнул его рулоном по голове: бом!

Мы посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись.

32

Домой вернулись мы уже под вечер. Алиса накинулась на нас: все сто раз остыло, а подогревать последнее дело, где вас носит, обещались «по-быстрому»! Но вопреки ее стенаниям на столе царски дымилась сковорода с памятными мне уже котлетами, пахло луком, и мокро поблескивали только что вынутые из ледяного ручья бутылки с отклеившимися этикетками.

Вовка был доволен результатами экскурсии. Потирая руки, он остановился перед столом. В лице его проступило умиление.

— О, Офелия! — пропел он, глядя на бутылки. — Помяни меня в своих молитвах! — И уже скороговорочной прозой добавил, обращаясь ко мне: — Братец-рудознавец, а не налимониться ли нам? Поскольку вечер наш, и ночь наша, а вертолет завтра в два. Значит, еще и полдня наши. Давненько я не имел такой прорвы времени. — Он с грохотом потащил под себя стул. — Все, отсюда только под белые руки! Хозяин, дьявол тебя бодай, не томи душу!

Мы выпили, Алиса только пригубила.

Я ковырнул котлету и изобразил приятное удивление:

— А ничего! Есть можно. Только вот, кажется, лук пережарен.

Алиса зыркнула на меня смеющимися глазами, а Вовка сказал:

— Примитивная конспирация! Думаешь, я не знаю, что ты трескал тут Алискины зразы, когда я загибался на горé?

Я едва не поперхнулся и в упор посмотрел на Алису.

— Это правда?

— Что ты, лапа! — Алиса засмеялась. — Просто чувство ревности на голодный желудок делает его иногда телепатом.

«Ну, семейка». Я почувствовал себя вдруг раскованным, наклонился к Алисе. Поскольку фартучка в доме не водилось, Алиса перевязала себя полотенцем, и теперь живот ее выпирал довольно рельефно.

— На аэродроме ты сказала, что решилась. — Я указал глазами на ее живот. — Выходит, восемь лет, которые вы живете, вы, как это сказать, сдерживались?

Она смотрела на меня ласково-укоризненно, как на мальчика, пытающегося заглянуть в тайну деторождения.

— И вы ни разу не ошиблись?

— Толик, лапа, — протянула она обидчиво. — Ты лучше выпей.

— Нет, ты ответь, — заупрямился я.

Она сказала с вызовом:

— Представь, что нет.

— Странно, — пробормотал я.

— Что же странного?

Я повернулся к Вовке, кивнул ему, медленно выпил. Вовка тоже. Алиса ждала. Черты ее обострились, и на губах стала заметна перламутровая краска, которой она прежде пользовалась с большим искусством.

— Что же тут странного? — повторила Алиса. — Какой-то разговор ты сегодня затеял...

Я улыбнулся, попытаюсь под улыбкой скрыть начавшее вскипать во мне раздражение.

— Легко планировать рождение второго ребенка, — сказал я, — но планировать первого... Тут, извини, побеждает обычно стихия...

— Нам стихия нипочем, мы стихию кирпичом! — сказал Вовка. Он аппетитно доскребывал сковородку, и Алиса, увидев это, всплеснула руками:

— Канончик, ты опять распустился! А ну, оставь сковородку, ешь овощи!

Через час, когда мы уже сидели за столом, сытые и слегка осоловевшие, Вовка придвинулся ко мне и, сделав деловитое лицо, спросил:

— Для зимника через Заповедный большие работы потребуются, как ты думаешь?

В его вопросе не было ничего ни крамольного, ни обидного, я мог бы ответить односложно: «Большие» или наоборот: «Небольшие» — и все. Но мне неожиданно захотелось кольнуть его, и я сказал:

— Знаешь, Вовик, я тебе поселка не отдам.

— То есть как?

— А так.

— Медведям в аренду сдашь?

— И не медведям! — во мне все сильнее разгорался дух противоречия. — Сами будем работать.

— Во имя какого высшего смысла, Толик?

— Будем отбуривать глубокие горизонты. У меня есть кое-какие соображения, пойду с ними в управление, добьюсь пересмотра проекта. Мне кажется, руда на глубине есть.

— Кажется, представляется, воображается... — передразнил Вовка. — Под такую отжившую терминологию нынче не отпускают и рубля.

Мы помолчали.

— Нету здесь руды, Толик, — сказал Вовка грустно. — И нечего

огород городить. Надо мужественно довольствоваться формулой: отрицательный результат — тоже результат.

— Я от тебя это слышал не раз. «Нет у руды». Задним умом мы все крепки.

— Да нет, я всегда это знал, — сказал Вовка.

— Брось цену набивать, — озлился я. — Забыл я, что ли, как ты на первом совещании пикировался с главным? Остроумно выглядело! Тогда ты тоже знал?

— Знал. — Вовка глядел на меня размягченными глазами.

— Знал! — вскинулся я. — А чего же дудел в одну дуду со всеми?

— Так из чувства стадности! — Вовка рассмеялся.

— Не набивай себе цену! — повторил я.

— Ты меня обижаешь, Толик.

— Тогда, значит, хочешь уйти от ответственности. — Я вздохнул, разговор этот меня тяготил. — Ведь согласишься, на всех нас лежит какая-то доля вины за неудачу. Пусть моральная, но она есть. А ты ведь как-никак считаешься специалистом по Топхану. Обкакались, так давай уж будем, старина, лучше молчать. И, как любит говорить Бронислав: будем думать, как жить дальше.

Вовка нахмурился, бугры его лба затвердели: я, должно быть, больно задел его профессиональное самолюбие.

— Если бы ты не был моим другом...

— Брось, — прервал я.

— Нет, постой. Если бы ты не был другом, я плюнул бы на все твои выпады...

— Ну и плюнь.

— Не могу.

— Извини тогда, — сказал я примиренно. — Все это так близко. Ты же понимаешь. Тяжело...

33

Вовка придвинулся ко мне, обнял за плечи.

— Хороший ты мужик, Толик. Но уж слишком наивный. Ты не обижайся. Хочешь, докажу?

— Я хочу в данный момент только одного: выпить, — сказал я. — Растравил душу, оракул-теоретик. Давай по пять капель.

— Нет уж, постой! — Вовка решительным жестом отодвинул стакан. — Где тут мой кованный сундук с бумагами?

— Мальчишки, мальчишки, — сказала Алиса обеспокоенно. — Чего завелся? Чего ты, Канончик, завелся? Оставь свой сундук в покое. Никуда он не делся, вон стоит.

— Ни в коем разе!

— Канончик, прошу тебя, уймись.

— Я его слишком уважаю, чтобы он считал меня дураком и приспособленцем!

Произнеся эту эффектную фразу, Вовка зашагал в угол, где стоял ящик с книгами. Он долго рылся в нем, пыхтел и вернулся с рукописью в руках.

— Только между нами, — предупредил он. — Ты упомянул тут про совещание. Помнишь, я давал тебе прочесть свою работу по Топханскому хребту?

— Ну и что?

— Это она и есть.

— Ну и что? Читать, что ли, снова заставишь? Не буду. Застрелись. — Я умоляюще обернулся к Алисе. — Лисанька, спаси ты меня от этой самовлюбленной личности, замордовал!

— Не читай, не читай, — с готовностью подхватила Алиса. — Разве не видишь, он хорош!

— Только одно место! — Вовка так хватил ладонью по рукописи, что запрыгала посуда. — Пять страниц! Правда, это последний экземпляр закладки, но ничего, разобрать можно. Отсюда, ну?

Вовка навис надо мной глыбой, дышал, и мне даже подумалось: вошелся, с чего бы?

Я заскользил глазами по бледным строчкам, они расплывались, я не мог сосредоточиться.

«Природа... может быть объяснена... рудные тела... мелкими линзами... сильно магнитны...» Стоп. Я не улавливал смысла прочитанного, но что-то кольнуло меня, заставило насторожиться.

Я стал читать заново, медленно проговаривая в уме каждое слово.

«Природа магнитных аномалий по Топханскому хребту может быть полностью объяснена только после проведения геолого-разведочных работ. Однако, основываясь на полевых материалах, можно предположить, что рудные тела здесь представлены в основном многочисленными мелкими линзами магнетитовой руды...».

Черт побери, верно. Неужели это написано еще три года назад? Дальше я читал все быстрее, но уже крепко вцепившись в смысл.

«...линзы расположены кулисообразно в толще диоритов и габбро-диоритов. Последние, как правило, сильно магнитны... Магнитные вмещающие породы создают большие по площади аномалии. Приуроченность аномалий к вершинам польцов можно объяснить сильными и частыми грозами в летний период...»

Я бегло просмотрел еще страницы две, ага, вот и вывод:

«Из вышеизложенного следует: «Топханское месторождение магнетитовых руд промышленного значения иметь не может».

«Промышленного значения иметь не может». Я посмотрел на Вовку.

— Но ведь этого у тебя не было. И вообще по Топханской аномалии ничего не было. Отлично помню. Тебе и главный тогда заметил.

Вовка стоял, посмеиваясь. В глазах его мелькнули торжествующие искорки. Он произнес вместо ответа:

— Ну как?

Я вспомнил тот управленческий коридор, залитый дымным солнцем, Вовкино непривычно суетливое поведение и его туманную фразу:

«Не уверен, не обгоняй», сказанную по поводу моего замечания о невыправленной второпях нумерации.

Я почувствовал, как катастрофически трезвею.

Мне враз как-то, в одно мгновение, стал ясен весь не очень сложный ход Вовкиного замысла. Ход насколько на первый взгляд рискованный, настолько — при ближайшем рассмотрении — неуязвимый. Понял ли он, что я понял его?

— Но все же... почему ты скрыл эти страницы? — спросил я. Во мне все еще теплилась надежда, что, может быть, остряк Вовка просто мистифицирует меня. Но зачем?

— Не скрыл, а изъял. Моя работа, мои домыслы, что хочу, то и делаю. Короче — не уверен был в своих выводах — достаточно? Ты что-нибудь слышал о такой штуке, как профессиональная требовательность?

Мне стало тоскливо до того, что так бы и сел посреди комнаты и завыл. Неужели он считает меня не только наивным человеком (куда ни шло!), но и откровенным тупарем? Осознавать такое через много лет самого тесного общения и тяжело, и постыдно. Но что делать? Сам виноват.

— Перестань валять Ваньку, — сказал я. — «Профессиональная требовательность». Ты обязан был их высказать в любом случае.

— Кому? Толик! Святая ты душа. Нашему главному? Я пять лет проедал ему плешь своей ртутью. Думаешь, там мои аргументы были слабее? Черта с два.

Что-то мне становилось нехорошо, хотя я вроде не перепивал. Я потер ладонью горло, грудь.

— Все же тебе давалась возможность, ты работал с отрядом. И потом, главного можно понять. Или реальное, почти осязаемое железо, или твоя мифическая ртуть?

— Ты думаешь, главный за железо болел, когда приезжал к вам форсировать работы? — вскинулся Вовка. — Как бы не так. Управление не дотягивало годового плана по буровым. Вот он и даванул на вас: братцы, руда нужна стране, поднатужимся! Благоустроимся потом!.. Я эту механику его давно знаю.

Я возразил:

— Не будет плана по буровым — не будет руды.

— Не спорю, — в итоге — да. Но ты не впадай тогда в демагогию, а говори прямо: нужны погонные метры.

— Все равно, ты обязан был обнародовать свои соображения. Даже если бы их приняли за бред, — упрямо сказал я.

— Благодарю, не ожидал. Добровольно надевать колпак с бубенцами...

В моих ушах возник и стал толчками нарастать шум.

— А когда ты носился со своей ртутью — ты не боялся выглядеть дураком?! — заорал вдруг я и отпихнул рукопись, так что листки посыпались.

Передо мной замелькало испуганное Алискино лицо.

— Толя, Толя, успокойся, ну с чего ты, лапа?..

А Вовка, весь красный, пробубнил:

— Старина, я же тебе как другу, а ты взвинтился.

— Я тебе тоже как другу! Отойди, Алиса, мы сами разберемся... Как ты не хочешь понять одного? Я три года мордовался здесь!

— И я мордовался, — сказал Вовка. — Какая разница?

Я встал, Вовка был чуть выше меня ростом, но сейчас мы смотрели глаза в глаза.

— Для меня Топхан был цель. А для тебя — средство к цели. Вот какая разница, — сказал я.

— Ну, ну, ну, — протянул Вовка, или подыскивая аргумент, или просто желая закончить накалившийся и неприятный для него разговор. — Это, старина, напоминает мне наши лагерные учения, помнишь? Сам ставишь перед собой чучело и сам — длинным коли! — ловко пронзаешь его штыком.

Я сразу как-то остыл, обмяк, мне совсем было худо и страшно хотелось на воздух. Такое было ощущение, что я ем сахарную вату: в рот беру много, а глотать нечего.

— Ну хорошо, — сказал я. — А если бы ты не нашел ртути. Что тогда?

Мне казалось: уж этот вопрос неопровержим. В ответе на него должна была проявиться, ну... мера Вовкиного понимания той ситуации, что ли. Действительно: что?! Страшно подумать.

Но Вовка Канончик только усмехнулся.

— Отвечать на это, Толик, нет смысла. Если бы! Ведь я нашел!

Я больше не мог оставаться в комнате. Поднялся и вышел на улицу, скорчившись, сел на крылечко.

Вскоре позади хлопнула дверь, надо мной склонилась Алиса.

Я увидел близко ее лоб в пигментных пятнах, висящие вдоль щек волосы. Она коснулась ладонью моей головы:

— Толик, лапа, тебе что, плохо?

— Да, но это пройдет. Ты иди.

Я убеждал себя: Алиса не нравится мне сейчас не потому, что она беременна, волосы висят, лицо в коричневых пятнах пигмента. Это глупо, что я так подумал.

— Я не ем пережаренного лука, — сказал я морщась и отворачиваясь. — И не зови меня больше лапой, слышишь ты?

Потом я поднялся и пошел. Шел я без всякой цели. Просто мне хотелось остаться одному. Рядом шумел, прыгал по камням ручей.

— Лиса Алиса и кот Базилио, — шагая по тропе, бормотал я вспоминая отчего-то студенческую дразнилку. — Лиса Алиса и кот Базилио...

Было уже сумеречно. Здание электростанции впереди освещенное прожектором, походило на причаливший корабль. Лившаяся из трубы в стене горячая вода падала в ручей серебряным жгутом.

Я вошел в широкие двери, кивнул возившемуся в дальнем углу

дежурному механику. Один дизель молчал (он был резервный), а второй утробно рокотал, сотрясая бетонное основание. Бока его жарко блестели. Я остановился перед ним. Его ровный и мощный рокот действовал успокаивающе.

И мне вспомнилось... Шло второе лето нашего пребывания на Топхане. Станция работала с полной нагрузкой, питая энергией все наше сложное хозяйство — механический цех, пилораму, поселок, а — главное — буровые вышки. Неожиданно забарахлил дизель. Срочно был включен резервный, а мы все собрались на станции, стали гадать, в чем причина. В конце концов, выяснилось: заводской дефект, исправить своими силами нельзя.

Мы схватились за голову: что делать? Работать одним резервным двигателем, значит, каждую минуту жить под угрозой аварий.

Новый дизель, который мог нас выручить, имелся, как мы выяснили, на базе экспедиции. Везти этукую махину по земле, через тайгу — потребуются прорва времени, да еще неизвестно, довезешь ли в спешке живым. Выход был один — доставить вертолетом на подвеске.

Приземлившись на площадке экспедиционного поселка, командир тяжелого МИ-6 долго ходил вокруг чугунной туши дизеля, пинал, сомневался. Потом спросил: сколько же весит эта штуковина?

— Десять сто пятьдесят, — с готовностью ответил наш представитель, протягивая полетные документы.

— Сто пятьдесят килограмм лишку, не могу, — сказал командир. — Отвинчивайте что-нибудь.

Представитель взмолился:

— Мы и так отвинтили все, что можно. Остался блок цилиндров, кусок железа! Автогеном, что ли, обрезать эту лишку?

Командир оказался человеком понимающим. Он слил часть горючего, приказал: подцепляйте, черт с вами.

Дважды мощная машина приподымалась в воздух и оба раза оседала, бороздя подвешенным под брюхо «куском железа» землю. И только на третий раз «вес был взят». Вертолет грузно, точно коршун с непосильной ношей в лапах, поднялся в воздух, взял курс на синюющие вдали горы.

Я стоял в томительном ожидании на нашей посадочной площадке. МИ-6 вынырнул из-за гребня гольца. Он шел, едва не задевая елей. И без обязательного виража, пройдя по распадку, с ревом завис над бревенчатым настилом. От ураганной струи разлетелась приготовленная к погрузке орсовская тара — плетеные корзины, ящики. Рев стих. Долго вертелись лопасти, затмевая полнеба, и долго из кабины никто не показывался.

Наконец сверху, медленно нашаривая ногами ступеньки, спустился командир. Он был в белой нейлоновой рубашке с закатанными рукавами. Тяжело присев на опрокинутый ящик, стал закуривать. Мы робко подошли к нему. Рубашка на нем была мокрой, хоть выжимай. Взбухшие вены на висках — следы пережитого нервного напряжения. Он поднял взгляд.

— Ну, а теперь сознайтесь,— хрипло проговорил он,— какой настоящий вес этой болванки?

Мы сказали: — Прости, командир, если можешь... Десять чы-реста...

Он выругался, швырнул под ноги окурки и полез обратно в кабину.

— Но ты не представляешь, командир, как ты нас выручил,— сказал я вслед ему.— Мы твои вечные должники, помни. И у нас не было другого выхода.

Уже держась за поручни, тот обернулся.

— Если факт станет достоянием гласности, выплут в первую очередь мне. Но и вы не отделаетесь испугом. Тоже помните!

С тем и улетел...

Прошло много времени с тех пор, а я вижу выражение лица летчика, его мокрую от пота рубашку. Окажись он сейчас рядом, я стал бы перед ним на колени. И перед Бронькой Афузовым стал бы, хотя вины перед Бронькой не знаю. У него сначала воспалилась кожа рук, потом перекинулось на грудь и спину — тяжкое предстоит лечение и длительное.

Удастся ли мне вскорости побывать у него?



ЭКЗАМЕН

Брал на горло — бас срывался к пisku,
как у молодого петуха.

Глянут исподлобья мотористки —
пыл руководящий утихал.

Их глаза усталые, как судьи,
и морщинки, как немой упрек.

Что я знал про жизни их, про судьбы
двадцати — без гака паренек,
чтоб вот так — ни в бога и ни в черта,
но ведь можно окриком взбесить —
их за недосмотры, недочеты
и другие «недо» разносить?!

...Сбитый пламень, выцветшие сини.
Может быть, им хочется во мне
вспомнить, увидеть родного сына,
павшего когда-то на войне?

И тревожно думалось ночами —
в голове разброд, как в ледолом —
никакой я вовсе не начальник,
так себе... имеющий диплом.

Сквозь снегов обманчивую замять,
ноги продвигая, как во сне,
шел на смену, будто на экзамен —
стану человеком или нет...



А вот ведь успело забыться...
Ни в шахте не вспомню, ни в снах...
Большая зеленая птица —
На склоне песчаном сосна.

Казалось, когда-нибудь взмоет
На крыльях она в синеву.
И высушит, выпалит зноем
И звонкий родник, и траву.

Бежал к ней мальчишка в предгрозье,
Взъяренному ветру подстать,

И тихо, на полном серьезе,
Шептал ей: «Нельзя улетать!»

И как ту наивность святую
Я вытеснил даже из снов?!
И вот топором четвертую
Крылатую радость лесов...

По скатам, по рельсам морозным
Увозят шахтовую крепь...
Без хвои, без кроны подзвездной,
В морщинах на старой коре...

Осинники

Сергей Лебедев — аппаратчик Новокемеровского химкомбината. Он заочно учится на третьем курсе Томского государственного университета, на филологическом факультете. Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей.

ВЕРСТАК

Стоял верстак: поодаль от дорожки, пересекающей двор, были врыты в землю четыре столбика и на них прихвачены три толстые плахи. Вся премудрость. Но на нем можно было строгать, пилить, колотить гвозди. Кто ни разу не брал в руки рубанка, чтобы сделать книжную полочку, не поймет, какое это хорошее дело — хотя бы один верстак на весь дом.

Неизвестно, кто и когда смастерил его там, но верстак стоял уже давно и не первое лето чернел своей основательностью среди зелени кленов. Он был как приб, который хоть и лесной житель, но ничем не похож на свою соседку траву. Его потемневшие доски хранили отметины неосторожного топора и праздного колупания стамеской. На нем делали разовую работу. Иногда по вечерам кто-нибудь выбегал из подъезда, торопливо скрипел ножовкой и так же торопливо убегал, оставляя за собой следы серых опилок плохого дерева. Потом с верстака прыгали ребятишки: кто дальше, или играли в ножички. Еще позже, уже почти ночью, на его шершавую спину садились парни и девушки, курили, и огоньки сигарет плавали в темноте, как сигнальные фонарики.

Верстак хотел мастера. Он ждал его терпеливо, как преданные собаки ждут хозяина. Молодые клены шумели вокруг него важно и вкрадчиво, но верстак молчал, как каменный и никогда не вспоминал свою лесную молодость. Напрасно шумели клены, не могли они понять его суровую трудовую душу.

И хозяин пришел. Настоящий, веселый, азартный, с перекурами, с удачей и потом.

Работал парень, молодой, в джинсах и голубой рубашке. Он пришел с сумкой, в которой бряцали инструменты, и сначала вытащил сигареты, закурил неторопливо, но, видно, нетерпение жгло его душу, и сигарета, недокуренная, полетела на землю, а из сумки появились молоток, стамески, рубанок, и первые стружки полетели на сухую землю. Парень был, видно, умел, ворох стружек рос быстро, и самые резвые из них долетали до веток кленов, повисали на них, как елочные игрушки. Первыми сюда прибежали пацаны. Они осторожно трогали блестящие поверхности досок, потом смотрели в глаза парня и шепотом

делились впечатлениями. За пацанами стали подходить старики. Они незаметно приближались, подолгу стояли в стороне, вздыхая о своей молодости, и все еще не желая с ней расставаться, говорили:

— У меня вот сынок, тоже большой любитель...

Парень стряхивал с брюк стружки и с сигаретой садился на верстак. Приближался вечер, пахли стружки, мимо проходили девушки в коротких платьях, затылки пацанов были теплые, как августовское солнце, и в морщинах стариков пряталась мудрость долгой жизни. Парень прочищал рубанок, и дымок сигареты лез ему в глаза.

Уже появились первые признаки будущей вещи. Парень работал сноровисто, но неспешно, беря в руки то рубанок, то стамеску и молоток. Мальчишки по-прежнему вертелись у верстака, осмелев, трогали инструменты и удивлялись: какие острые! Когда стемнело, они помогли ему собрать стружки в мешок и потом вместе жгли их за домом.

Стружки горели жарко и, подхваченные ветром, взлетали высоко в темноту, но тут же, прогорев, падали, как подбитые бабочки.

На следующий вечер было полное согласие. Парень работал сам и руководил своими помощниками. Говорил он редко, но слушались его, как бога.

Мальчишки понатащили с собой рассохшихся молотков, заржавленных ножовок и теперь стучали, не жалея сил, забивая слишком толстые гвозди. Те, кто еще не мог удержать молотка, катались рядом на трехколесных велосипедах, и мамы кричали им, чтобы они не мешали дяде. Попозже собрался небольшой дождик, но никто не ушел домой, снова работали дотемна, снова вместе жгли стружки, только теперь они горели нехотя, шипели и громко потрескивали. Работа шла споро и шла дня три, может быть, четыре. Потом парень перестал выходить к верстаку. Но еще долго мальчишки собирались там с молотками, как в свой штаб. Они не могли жить без штаба, и немало наколотили разных ящиков, которые потом мамы потихоньку выбрасывали. Но и мальчишки перестали приходить туда, начавшиеся дожди и занятия в школе разогнали их по домам. Верстак одиноко блестел под дождем, и с мокрых листьев на него падали крупные капли. Он ждал, наверное, будущего года, когда весна снова разбудит в ком-нибудь желание мозолей и простой веселой работы.

СЛОВО — УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

В конце прошлого года Кемеровская писательская организация провела семинар молодых литераторов области. В двух его секциях — поэзии и прозы — обсуждались стихи, рассказы, повести. В обсуждении приняли участие новосибирский поэт Александр Кухно и писатель Гарий Немченко, живущий ныне на Кубани.

В секции поэзии большой интерес вызвала рукопись Владимира Иванова из г. Бerezовского. Он поэтически осмысливает тему «Человек и природа». Немало достоинств в стихах Ивана Полунина, кемеровца. Они подкупают достоверностью лирических переживаний. Задушевен, свеж, солнечен поэтический голос Галины Золотайной, восемнадцатилетней девушки из Ленинска-Кузнецкого. О заметном росте свидетельствуют новые стихи кемеровца Олега Максимова.

Требовательный, профессиональный анализ рукописей молодых поэтов, критические замечания, высказанные в их адрес, несомненно, помогут им в дальнейшей работе.

Представляем вашему вниманию стихи отдельных участников семинара.

Олег Максимов

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

Вот и снова — отчий дом
Под седыми кленами.
Снова окна в доме том
Детством застекленные.
Молча сяду у окна
На овчинку рыжую.
За углом сирень видна —
Под мальчишку стрижена.
Ветер трется о карниз
Стылыми полозьями.
Как в метро, уводит вниз
Скользкий лаз колодезный.
И у входа в то метро,
Крашеного известью,
На цепи скулит ведро,
Словно пес на привязи,
А сорока у плетня
Одиноко горбится...
Собирается родня
В нашей тесной горнице.
Но не хочется туда
Выходить мне на люди...
Память детства — как вода,
Как ручей под наледью.

ОТКРОВЕНИЕ

Перепутаны слова.
Неразгаданы вопросы.
Тихо падает листва
На залив и на откосы.
Отряхает старый сад
Ветхие свои одежды.
Как в последние надежды,
Мы уходим в листопад
И садимся у реки,
На расшатанном причале.
Никакой у нас тоски,
Никакой у нас печали —
Просто тянет от земли
Пеплом вымокшим и прелью.
Что-то мы не сберегли,
Что-то вместе просмотрели.
И ложится голова
На любимые колени,
И приходит откровенье —
Что мертвы здесь все слова.
Над рекой... Над всей вселенной
Тихо кружится листва.

● ● ●

У меня еще все в начале,
Мне еще бежать за рассветами,
И головками иван-чая
Всю печаль поляны рассеют мне.
Будто выросшая из радуги,
Я стою на тропинке ласковой,
Не прошу ни беды, ни радости,
Ни презрения, ни участия.
Будут пни мне почтено кланяться,
Называя меня по отчеству.
И кукушка, мне не пророчица,
Пусть кукует себе, старается...
Я такая еще счастливая,
Я такая еще начальная,
Что смородина буйной гривой
Обнимает меня нечаянно.
Все еще впереди!
Уклончиво
Мне ответы дают малинники
На вопросы мои несложные.
Я счастливая!
Я любимая!

И не надо мне жить по-новому
И второе искать дыхание.
Я такая еще сосновая.
Я такая еще начальная.

● ● ●

Я когда-нибудь тихо и просто
Растворюсь на снежной бересте,
На слюде стрекозиных крыльев,
В профильтрованной звездной пыли.
В суету полустанков и станций
Я войду неприметной странницей,
Буду жить в бесконечном поиске
Новой сказкой о птичьем перышке.
Будет перышко плавать по морю,
Будет перышко мной не поймано,
И вернусь я к тебе, усталому,
В сказку светлую, в сказку старую...

Ленинск-Кузнецкий

НА РОДИНЕ

Здесь мною ничто не забыто.
И манит по-прежнему даль.
В природе так нежно сокрыта
Моя луговая печаль.
И сердце под небом угрюмым,
Забыв неумеренный нрав,
Тревожится поздней думой
Озябших полей и дубрав.
Уходят последние стаи.
Их в путь провожаю рукой.
Хоть грустно, но все же я знаю,
Они возвратятся домой.
Мы тоже вернемся к истокам...
Но прежде чем стану травой,
Готов я бороться жестоко
За благо остаться собой.

● ● ● Владимир Иванов

Как долго ждет природа обновления!
Вот, наконец, и обозначен крен.
И на земле, как в первый день творенья,
Настало время бурных перемен.
Вот этой луже — завтра плавать в небе,
И мертвый снег кипит, журчит давно.
А в почве, там, откуда вышел стебель,
Еще едва затеплилось зерно.
И что вчера казалось хмурой высью,
Сегодня синевою обдаёт.
И сердце радо, что течение мысли
Сливается с течением талых вод.

Березовский

ТЫ ПОМНИШЬ, МАРИЯ...

Щербатый цементный пол отдавал могильным холодом. Колени скоро заковались, и Мария не чувствовала больше ни выбоин в полу, ни колючих зерен раскрошившегося бетона. Отец стоял рядом, молитвенно сложив руки на груди. Ссутулившийся, с низко опущенной головой и торчащими в стороны острыми локтями, он походил на большую черную птицу с обломанными крыльями, каким-то чудом залетевшую в тюремную камеру. Человек от природы сухой, не щедрый на тепло и ласку, в молитве отец менялся на глазах. Для бога и слова у него находились другие — теплые, задушевные, каких никто из детей никогда от него не слышал... Иисус Христос для Ивана Брауна, наверное, был дорожке собственных детей...

Вот и пришел конец свиданию. Через полчаса отец распрощается и уедет домой, во Фрунзе, а она опять останется на этом неудобном клочке земли, отрезанном от мира тремя рядами колючей проволоки, с вахтой и недремлющими караульными вышками на углах. Впрочем, прежде чем отец уедет, должно состояться объяснение, мучительное и тягостное, как тогда, месяц назад, с Валентиной Кокуриной. Вот так же стояли они на коленях, и Кокурина творила молитву. Потом сказала: «Теперь ты молись, сестра!» Мария Браун молчала. «Сестра, почему ты не молишься!»

— Я больше в бога не верю!..

Кокурина на мгновение выпрямилась и беззвучно рухнула на пол. Спина и плечи ее содрогались от рыданий, а Мария все стояла на коленях и в ушах ее звучал собственный голос, далекий и тягучий, как погребальный звон колоколов: «Я больше в бога не верю!» Слова эти давно теснили сознание, и сейчас, когда они были выска-

заны вслух, где-то в груди словно образовалась леденящая пустота, от которой зябко передергивало плечи. Если бы, она, Мария Браун, могла вот так же упасть на пол и дать волю слезам! Но слез не было.

Потом они вместе с Кокуриной пришли в барак. Марию била нервная дрожь, на лице и руках багровыми пятнами выступила «крапивница». Кокурина сидела рядом и смотрела на нее словно из далекого далека. Так смотрят на покойника, стараясь навечно запечатлеть в памяти образ некогда дорогого человека. «Сестра» во Христе Мария Браун для Валентины Кокуриной больше не существовала. И для Елены Чернецкой, Аиды Скрипниковой, Владимира Шейко,—для всех, кто прежде считал ее «сестрой»...

Отец все молится, молится за нее, Марию. Просит всевышнего укрепить ее силы, помочь ей стойко и до конца страдать «за слово и дело господнее». Острые, колющие локти отца шевелятся и вздрагивают, словно грузная бескрылая птица пытается взмыть в небо сквозь зарешеченное стальными прутьями окно. Мария слышит жаркий шепот молитвы, краешком глаза смотрит на отца, и в душе у нее накапливает протест. «Утвердить в вере», «страдать за дело господнее»... Не он ли, отец, сам за плечи вывел ее на эту «стезю Христову» — зыбкую и неведомую, как этап с множеством пересыльных тюрем!

Она, Мария, была такой же, как все дети, разве что чуточку более замкнутой. В пятом классе, вопреки запрету родителей, тайком от них вступила в пионеры. Девочка с соседней парты подарила ей старенький галстук из штапеля. Мария носила его в школе, а по дороге домой прятала в портфель. Она училась уже в восьмом клас-

се, когда отец вдруг заявил дочерям: «Будете ходить с нами на моления». Сказал — как топором отрубил, и спорить с ним было бессмысленно. Они с Ириной, старшей сестренкой, бегали огородами, чтобы никто из сверстников не видел, как сестры идут в молитвенный дом.

Молодежной группой в секте руководил Франц Янцен, тоже обрусевший немец, сорокалетний мужчина с литыми плечами и бархатным баритоном. Нет, он не настаивал, чтобы новички сразу пели религиозные гимны. Пусть даже советские стихи вслух почитают, «Три пальмы» Лермонтова или горьковский «Буревестник». Да-да, символ революции — «Буревестник». Мария даже не подозревала, что его тоже можно «толковать» по-своему: пусть, мол, сильнее грянет буря и... в щелы разнесет существующий «антихристов» строй...

«Братья» и «сестры» во Христе терпеливо ждали, пока дочери Ивана Брауна «покаются»: дескать, от покаяния до истинной веры — один шаг. Три дня подряд Мария убеждала себя, что вот сегодня, сейчас она непременно должна покаяться. Но слов — искренних, рвущихся из самого сердца, с которыми можно было бы обратиться к всевышнему, — таких слов не было. На четвертый день во время иступленной всеобщей молитвы она упала вдруг на колени и залилась слезами. Плакала от собственного бессилия, от злости на самое себя, такую непокорную, сомневающуюся и... неверующую. Доведенная до истерики детская психика, не защищенная знаниями, жизненным опытом и твердыми убеждениями, надломилась. Мария просила господ даровать ей веру, ей и ее старшей сестре Ирине. Глядя на нее, заревела и Ирина. В тот роковой вечер Мария выплакала все, что связывало ее с прежним миром. Она словно хоронила и оплакивала всю свою недолгую «грешную» жизнь, все свои мечты и стремления. В глухую и душную августовскую полночь в пруду на окраине города Фрунзе Мария Браун приняла крещение. Дно пруда было мягким, податли-

вым, как вера Христова, и Марии казалось, что донный ил медленно засасывает ее, обволакивая тело болотной ряской...

Отец все молится, молится за нее. Спина его склоняется в земляном поклоне, словно большая черная птица с обломанными крыльями склоняется к живительному роднику. Марии все это знакомо, слишком хорошо знакомо. Много лет она прикладывалась к этому роднику, черпала в нем веру в высшую справедливость: «Господь всемогущ, всевидящ, всемилостив!» Веровала не только сама — других за собой тянула. Восемнадцать лет от роду она уже возглавляла так называемую детскую воскресную школу. Двадцать семь малышей-первоклассников, детей сектантов, собирались по воскресеньям у кого-нибудь на квартире, под руководством Марии Браун читали и пересказывали Библию, Евангелие, разучивали религиозные гимны. Вместе отыскивали на карте места, упоминаемые в библии, и это вносило в прочитанное элементы мнимого правдоподобия и убедительности. «Невинные» библейские легенды про Иакова и Моисея несли в детские души и мысли умело дозированный сильнейший яд. Мария Браун отлично знала, что ее действия уголовно наказуемы. Знала, но продолжала заниматься с детьми. В девятнадцать лет ее арестовали и осудили к пяти годам лишения свободы. Нет, не за веру в бога — за преступление перед законом, запрещающим организованное воспитание детей в религиозном духе.

Животворный источник веры иссяк — осталось сухое каменистое ложе: из камня веру не выжмешь.

— Отец, я больше не верю в бога!

Ты помнишь, Мария, — впервые мы встретились с тобой в колонии, куда перевели тебя из мест лишения свободы. Там не было уже ни лагерной зоны, ни часовых. Для тебя это был первый шаг к долгожданной свободе, хотя до окончания установленного народным судом срока наказания остава-

лось еще два года. Мы сидели в тесной комнатухе старшего культорга колонии, рядом с библиотекой. Вечерело. В печурке весело потрескивали дрова, а на подтаявшем снегу под окном темнели лиловые тени нагих деревьев. Я торопился — впереди были двести верст разбитой за зиму ночной дороги через тайгу, и наверное, не слишком деликатно комкал наш разговор. Это было ранней весной 1970 года.

С тех пор много воды утекло, многое переменялось в твоей жизни — стала студенткой педагогического института, вышла замуж, вступила в комсомол. В соседней комнате шумно возится детвора: моя Юлька и твоя Танька. Теперь мы видимся часто и можем поговорить не спеша. Давай припомним, Мария, все с самого начала. Если не для себя, так для детей, чтобы не было на свете искалеченных детских душ и ни одного ребенка не постигла горькая твоя участь.

Ты знаешь, Мария: «отцы церкви» в последние годы серьезно озабочены «оскудением веры», снижением влияния религии на советских людей. Процесс этот закономерен и необратим, потому что опирается он на гранитный фундамент нашей действительности — постоянный рост материального и культурного уровня жизни народа, совершенствование социалистических общественных отношений и утверждение моральных норм нашей жизни. В многовековом единоросте двух идеологий научные, материалистические взгляды и воззрения неизменно берут верх над религиозными верованиями. Это и вынуждает современных столпов и апостолов «веры Христовой» как-то «модернизировать» религию, приспособить ее к новым условиям — пусть даже ценою отказа от излишнего аскетизма и снятия многочисленных запретов и ограничений для верующих.

Именно так в свое время и поступили реалистически мыслящие руководители ВСЕХБ — всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, которые пошли на известные отступления от традиций церкви,

призывали верующих более терпимо относиться к тем, кто проявляет стремление к образованию и культуре, к участию в общественной жизни. Но эти трезвые меры, направленные прежде всего на сохранение авторитета и влияния церкви среди верующего населения, вызвали яростное сопротивление и оголтелую травлю со стороны так называемых «инициативников» — наиболее реакционной части баптистского руководства. Объяснив себя единственными «ревнителями веры» и «духовным центром» церкви, «инициативники» взяли на вооружение все наиболее консервативное и антиобщественное в баптистском вероучении. Программными лозунгами так называемого «пробуждения веры» главари секты провозгласили откровенную оппозицию обществу и государству, полную изоляцию верующих и особенно их детей от влияния окружающей среды, требования «свободного организованного обучения детей религии». Исторические предвещения близкого «конца света», призыв к аскетизму и отрыву от общества, проповедь «святости страданий» и «крестных мук» как главной сути человеческой жизни, — все это составляет сегодня суть вероучения «инициативников». Призывая своих единоверцев к неповиновению Советской власти, главари секты не останавливаются перед использованием противозаконных, клерикально-экстремистских методов, умышленно толкают верующих к нарушению правопорядка.

Припомни, Мария, как после ареста Елены Чернецкой Владимир Шейко и другие руководители сектантской общины во Фрунзе в своих проповедях иступленно призывали верующих «в знак протеста» не выходить на работу, провоцировали массовые беспорядки у здания республиканской прокуратуры, выдвигая требования освободить Чернецкую и вернуть конфискованный властями нелегальный молитвенный дом.

Собственно говоря, с приездом из Юрги активной сектантки Чернецкой все и началось. Грамотная молодая женщина, она

стала организатором нелегальной так называемой «детской воскресной школы», где младшую группу взялась возглавить ты, Мария. Ты помнишь, конечно, своих бывших «учениц» — нежную и ласковую Леночку Пеннер, младшую свою сестренку Наташу. Оба они тогда только пошли в первый класс. Как и их ровесники, тоже мечтали, наверное, вступить в октябрята и пионеры. А ты настойчиво вдавливалась в детские головы, что, когда, мол, Иисус Христос после «конца света» придет на землю вершить «страшный суд», — он будет искать верующих не на пионерских сборах и в клубах, а на молениях. И потому надо забыть о развлечениях и играх — в посте и молитве готовить себя в «невесты Христовы». Под влиянием подобных проповедей и «нравочений» в неустоявшихся умах и характерах детей, в их впечатлительной психике рушилось знакомое и ясное представление о мире, рождались недоумение, растерянность, страх перед всевышним, который вершит судьбы людей. Но не всевышний, а ты, Мария, — «устаи всевышнего» ты вершила в тот момент судьбы детей, «во имя Христово» лишала их всех радостей детства. Во имя несуществующего — алчного и жестокого бога ты принесла и положила на «алтарь веры» без малого тридцать опустошенных, искалеченных детских душ.

Нужны факты, доказательства! Ты знаешь их лучше меня, Мария. Сколько раз за последние годы, освободившись сама от религиозных верований и предрассудков, ты пыталась протянуть руку своей младшей сестре Наташе, ты и твой муж Женя. Вы приглашали ее к себе, сами не раз ездили во Фрунзе, — словом, сделали все возможное, чтобы оторвать ее от секты «инициативников». Но подтолкнуть человека, тем более несмышленного ребенка в болото «веры Христовой» оказалось куда легче, чем помочь ему высвободиться из трясины. И об этом ты тоже знаешь лучше, чем кто-либо другой. Знаешь на собственном опыте. С тебя самой — впору хоть «Житие Марии Браун» пиши...

Ты как-то рассказывала мне, что уже в местах лишения свободы познакомилась с активной сектанткой Аидой Скрипниковой из Ленинграда. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. «Братьев» и «сестер» во Христе — даже совершенно незнакомых — ты научилась узнавать по крадущейся походке, по незаметным для постороннего взгляда приметам: женщина с платочком в руке — наверняка «сестра» [на молении плакать будет, платочек-то и пригодится], или мужчина с завернутой в газету книгой за пазухой... Последние годы Скрипникова нигде не работала, часто встречалась с иностранными «туристами» и с их помощью добывала издаваемую за пределами СССР и нелегально переправляемую через границу литературу для «инициативников».

Ты узнала об этом позже, Мария, что о твоём аресте и заключении тоже стало известно бывшим твоим единоверцам за границей. Преподаватель Флоренского университета из штата Южная Каролина (США) мистер Гриффитс, о существовании которого ты даже не подозревала, написал официальный запрос начальнику исправительно-трудовой колонии: «Что сделано для смягчения приговора и досрочного освобождения Марии Браун!» Правда, столь трогательная забота и внимание мистера Гриффитса малость опоздали: досрочно — без ходатайства иностранных «доброжелателей» освободившись из мест лишения свободы, ты уже стала студенткой Кемеровского педагогического института и к тому времени имела возможность публично, через газету, ответить мистеру Гриффитсу:

— В адвокатах не нуждаюсь!

Но ведь и по сей день иностранные «доброжелатели» не оставляют тебя в покое — из Канады, Соединенных Штатов Америки и других стран шлют тебе письма, жалкие посылки с единственной целью — вернуть тебя в «лоно церкви Христовой», в лагерь крестоносцев идей мирового душителя свободы — империализма. Не с помощью ли «сестры» Аиды Скрипниковой и ей подобных узнают они твой адреса!

Если уж говорить о письмах, пожалуй, с наибольшей откровенностью «заинтересованность» в твоей судьбе зарубежных «благодетелей во Христе» высказала Тессанон Дела Ганон из города Онтарио [Канада]: «Я молю бога за братьев и сестер, особенно за тех, кто находится на полях битвы, чтобы спасти мир от коммунизма... Бог с нами! Он спасет и защитит тебя!»

Вот так. Все маски, наконец, сброшены, маски добреньких, «далеких от политики», всепрощающих «братьев» и «сестер» во Христе. За масками обнажился звериный оскал и лютая ненависть врагов коммунизма — крестоносцев всех мастей и толков, от мелкой сошки до бывшего президента США Гарри Трумэна — тоже убежденного баптиста, благословившего первые атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Впрочем, знакомство со Скрипниковой было кратковременным, не то что с Валентиной Кокуриной, вместе с которой ты находилась в местах лишения свободы. Кокурина, как и ты, отбывала наказание за организованное обучение и воспитание детей в религиозном духе. Самой отличительной чертой характера «сестры» Валентины, как ты вспоминала, было лицемерие, ханжество. Кликушески заявляя о своей готовности страдать «за слово и дело господнее», истязать себя постом и молитвой, Кокурина в то же время ревностно заботилась о своей плоти, даже во время поста позволяла себе поблажки. Что ж, это не самый тяжкий грех перед богом, а ты готова была простить его «сестре» Валентине. Но однажды после получения очередного письма Кокурина призналась тебе, что, занимаясь с детьми в так называемой «воскресной школе», она развратила пятнадцатилетнего Витю С., одного из бывших своих «учеников». Об этом узнали девочки из ее группы и тут же решительно порвали с церковью. Признание Кокуриной потрясло тебя, но не меньше потрясло и лицемерие сектантской общины: о «грехопадении» «сестры» Валентины знали все, но в интересах «веры Христовой» решили не предавать дело широкой

огласке. «Братья» и «сестры» во Христе по-прежнему слали Кокуриной письма, ухитрялись даже через подставных лиц переправлять посылки. Кстати, из-за посылок и начался у тебя разлад сначала с Кокуриной, а потом и с «верой Христовой».

Насчет посылок с нелегальной литературой у тебя не было двух мнений: книги, мол, пища духовная, и получать их «с воли» даже незаконным путем не грешно. А вот продуктовые посылки... Ты считала, что верующий должен быть чистен перед богом и людьми и не принимать «грех на душу» ради собственной плоти. Кокурина же уверяла, дескать, «бог сам находит пути передать нам дар «братьев», а потому и греха здесь нет. Мало-помалу ты начала понимать, что в вопросах совести «братья» и «сестры» далеко не святы, и когда это выгодно им, могут легко пренебрегать не только «мирскими» законами, но и «божьими установлениями»...

Потом ты заболела, Мария, и тебя положили в областную больницу. Это был первый в твоей жизни случай, когда рядом не оказалось никого из «братьев» и «сестер». Ты осталась лицом к лицу с незнакомым миром, и первая встреча с «грешным» миром на многое открыла тебе глаза.

Болезнь протекала тяжело. От слабости ты часто теряла сознание, а когда открывала глаза — неизменно видела у своей кровати дежурную сестру или нянечку. Ты просила молочной лапши, и тут же кто-то бежал на кухню заказывать для тебя «персональный обед». Больные шикали друг на друга, когда ты впадала в забытие, нянечки приносили клюквенный сироп, домашнее печенье. «Грешный мир» на поверку оказался вовсе не таким холодным, жестоким и бессердечным, как уверяли сектанты.

«Братья» и «сестры» во Христе, как ты помнишь, всегда кичились своей добротой, неукоснительным соблюдением евангельской заповеди — «возлюби ближнего как самого себя». Не спорю, иной раз они и в самом деле умеют окружить заботой и

вниманием человека, оказавшегося по воле случая в горе, нужде или одиночестве. Так ведь случилось когда-то и с твоей матерью. Несмотря на многочисленную — десять детей — семью, Екатерина Петровна Браун в сущности была человеком глубоко одиноким. Постоянные выпивки отца, от которого она ласкового слова за всю жизнь не слыхала, да столь же постоянные заботы: как прокормить, одеть и обути ребятишек мал мала меньше. «Сестры» из сектантской общины приметили задавленную нуждой и заботами многодетную мать, нашли для нее слова утешения и надежды. На материальную помощь тоже не поскупились. Впрочем, когда разговор идет о привлечении в «стадо Христово» новой «овечки», тут уж «братья» и «сестры» обычно не скупятся ни на посулы, ни на подачки. Мать, а вслед за нею и отец, оказались в тенетах сектантов...

Что ж, будем называть вещи своими именами, Мария: просмотрели мы где-то твоих родителей. Видно, не оказалось рядом с ними людей, кто сумел бы вовремя поддержать и ободрить мать, наконец, по-человечески рассказать и доказать, что жалкие подачки «сестер» не идут ни в какое сравнение с той щедрой и поистине бескорыстной помощью, которой пользовалась ваша многодетная семья со стороны государства. К слову сказать, Мария, произошло ли тебе встречать среди бывших единоверцев хоть одного, кто добровольно отказался бы от материальных благ, скажем, от пенсии, получаемой из рук «антихристовой власти»? Ведь не было таких, правда! Но мы порой забываем, что рост материального благополучия трудящихся сам по себе еще не может служить надежной гарантией от влияния религии на умы и сердца отдельных людей. Вот почему в борьбе с религиозными верованиями и предрассудками, наряду с ростом материального благосостояния, партия подчеркивает настоятельную необходимость дальнейшего совершенствования социалистических общественных отношений, утвержде-

ния моральных норм и принципов нашей жизни: человек человеку — друг, товарищ и брат!

Согласись, Мария, не так уж трудно творить добро по отношению к человеку, связанному с тобой общими взглядами, верованиями, убеждениями, как это принято обычно у сектантов. Но второе, впятеро труднее проявлять доброту к людям из другого мира. Не только по духу была ты чужой всем — для врачей, медсестер и нянечек областной больницы — ты была человеком, преступившим законы и совесть общества. И тем не менее они сумели окружить тебя поистине человеческой добротой, искренним и неподдельным состраданием, от которых временами к горлу подкатывал жаркий ком и в глазах накапливались слезы благодарности. Весь коллектив терапевтического отделения семь недель подряд боролся за жизнь и здоровье Марии Браун, уголовной преступницы и сектантки. Скажи, кто из бывших твоих «братьев» и «сестер» способен на такое бескорыстное подвижничество!..

Из больницы ты вышла с твердым убеждением: надо учиться-учиться, чтобы приносить людям добро. В местах лишения свободы ты получила профессию мастера по пошиву обуви, затем пошла в одиннадцатый класс вечерней школы. И выглядела ты в ту пору совсем как старшеклассница — с косичками и белыми бантами. Еще одна в классе — такая же, с косичками, подошла к твоей парте, сказала: «Подвинься — рядом сяду!» Это была осужденная за растрату Тамара Митракова, с которой вы потом стали подругами.

Нет, далеко не сразу отказалась ты от своих религиозных убеждений. По-прежнему встречалась с Валентиной Кокуриной, вместе с которой по воскресеньям и церковным праздникам демонстративно устраивали моления. Когда у тебя отобрали дневник с записями из Библии и Евангелия, ты отказалась выходить на работу, пыталась объявить голодовку. Тебе сказали: «Будем кормить через зонд!» Подумала,

махнула рукой: «И верно — будут кормить, не дадут умереть за веру Христову!» Тамару Митракову, которую незаслуженно обидела на работе, тоже пыталась обратить в свою веру. Да не тут-то было.

С Митраковой, как ты помнишь, Мария, я тоже познакомился у вас в колонии. Понравилась она мне — своей бескомпромиссностью, убежденностью, трезвой и беспощадной оценкой своего проступка перед народом. Гордостью женской тоже понравилась: из мест лишения свободы сама подала на развод с мужем, который не сумел дождаться ее. Теперь признаюсь: Тамара говорила мне, что замполит исправительно-трудовой колонии Степанова опасалась, как бы ты и в самом деле не «обработала» Митракову.

Узнав, что ты веришь в бога, Тамара искренне удивилась: «Я думала, все верующие в черном, как монашки, и молчаливые, замкнутые, а ты, смотри, с косичками и — вон какая «языкастая». Посылок Митракова не получала, и ты однажды угостила ее шоколадом: «С воли прислали, нелегально». От шоколада Тамара отказалась и тебе же нравоучение сделала: «Как же вы, верующие, считаете себя честными против воров и растратчиков, а занимаетесь нелегальщиной!» Вы поссорились и несколько дней не разговаривали. Потом опять помирились. Вечерами говорили об отношении сектантов к Советской власти, к службе в армии. И ведь никто не поручал Тамаре переубеждать или «агитировать» тебя. Просто, что называется, по совести не могла иначе — душой за тебя болела, хотела помочь. На Октябрьские праздники Митракова уговорила тебя выступить с чтением стихов в литературно-художественном монтаже. Это была уже «уступка дьяволу»...

Помнишь, Мария, ты рассказывала мне про замполита Нину Георгиевну Степанову, учителей вечерней школы Валентина Николаевича Волкова, Лину Александровну Шилову, Екатерину Ивановну Котову. Сколько же людей принимали участие в твоей судь-

бе, старались помочь тебе «прозреть», открыть глаза. Учитель истории Волков один из уроков полностью посвятил тебе. Это был своего рода диспут на тему: «Свободен ли в своих поступках человек, имеющий религиозные убеждения?» И сама ты жадно тянулась к знаниям, свету, хотя по привычке сравнивала материалистический взгляд на мир с библейскими писаниями. Порой сама удивлялась собственным «открытиям»: Библия, оказывается, тоже не отрицает «первичной материи». ...Бог смешал мелкие хаотические частицы с водой. Потом отделил твердь от воды, — это из библии. Значит, частицы пыли, тверди — материальные в своей основе частицы — существовали и «до бога», до «сотворения мира»? А как там, в Евангелии, от Иоанна? «Сначала было слово, слово было у бога, слово было — бог. Ничего до него не начало быть, что начало быть». Попробуй разобраться в такой белиберде: путано, а главное — бездоказательно. Как и многое другое в «божественном писании», догму о «сотворении мира» надо просто принимать за веру, без рассуждений и доказательств. Так что же это за вера, которая требует лишь слепого послушания — не может, не в состоянии «постоять за себя», предъявив неоспоримые доказательства своей «истинности»? Вопросов и сомнений возникало все больше. Ты ловила себя на мысли, что впадаешь в «ересь», сомневаясь в «святости» «божественных писаний», но путь к истине всегда лежит через мучительные сомнения и поиски...

Потом случились кровавые события на острове Даманском, когда твои ровесники грудью встали на защиту священных рубежей Родины. Лично для тебя, Мария, эти события окончательно проложили водораздел между старым и новым. А было это так.

...Только что принесли газеты с рассказом о подвиге пограничников. Молоденькая учительница плакала навзрыд и не стыдилась своих слез. «Что же она так убивается! — недоумевала ты. — Стоит ли жалеть

их! Современная молодежь, уверяли сектанты, возвращена, испорчена. Все равно гореть им в «геене огненной»! И тут же невольно заспорила с собой: «Так ведь они же за нас гибнут, нашу землю защищают!» Давно назревавший конфликт между религиозными убеждениями и стремлением к внутренней свободе неумолимо обернулся вопросом:

— А ты смогла бы вот так же, с оружием в руках! — И ты, решительно отбросив последние сомнения, ответила себе:

— Смогла бы, постаралась бы помочь...

А вскоре подоспел день Всесоюзного коммунистического субботника, который совпал нечаянно с «пасхой». «Да ты в уме ли, сестра! — воскликнула Кокурина, сраженная наповал твоим решением пойти на субботник. — В день светлого Христова воскресения — работать на «антихристову» власть и безбожников!!»

— Там, на Даманском, — ответила ты, — за нас с тобой люди отдают жизнь. Пусть — вера не разрешает нам брать в руки оружие. Но разве Иисус Христос запрещает нам помочь этим людям — своему Отечеству — трудом!

Это была, пожалуй, последняя попытка примирить свои религиозные верования с новыми взглядами и убеждениями, которые назревали в душе, как почти на проснувшейся после долгой зимы березе готовые «проклонуться» — изнутри «взорвать» личину отжившей свое веры и протянуть к солнцу клейкие от ароматной смолы молодые листочки. Какое-то время ты еще жила двумя мирами, словно утопающий за соломинку, отчаянно и безнадежно цепляясь пальцами за истлевшие холстины «веры Христовой». А на дворе тоже была весна. Набухшие влагой ветры пахли талым снегом, вконец сопревшим прошлогодним листом, призывно курлыкали невидимые в сумеречном небе журавли, на проталинах в лагерьной зоне пробивали землю пушистые цыплячьи головки подснежников. И только в тени лежали серые, как барачные стены, источенные живой водой скособо-

чившиеся сугробы. В такую пору больше всего веришь, — нет, не в загробное царство с торжественными погребальными гимнами во славу Христа, — веришь в буйное хмельное пробуждение и вечное торжество жизни. Весна и за колючей проволокой все равно остается весной.

Никто — ни Тамара Митракова, ни Валентина Кокурина не знали, что в эти дни творилось у тебя на душе. Скорее по привычке, чем по внутренней потребности, без веры, надежды и радости становилась ты на колени и пыталась молиться. Молила лишь об одном: избавить тебя от угрызений совести и мучительных сомнений, пусть даже ценой окончательного отказа от веры Христовой, лишь бы к одному берегу — правому или левому — все равно. Лишь бы не лукавить, не лицемерить перед собой, перед людьми и... утраченным навсегда богом. Раньше «господь всегда был рядом», всегда хоть мысленно ты обращалась к нему и всегда казалось, что бог видит тебя, слышит. Теперь господя-бога не стало. Животворный источник веры иссяк, осталось сухое каменистое ложе. А из камня веры не выжмешь...

Отец, видно, и раньше, до твоего признания, Мария, почувствовал, понял это. Еще тогда, когда ты отказалась послать с ним письмо «братьям» и «сестрам» во Христе. Но он надеялся, хотел надеяться, что не совсем потеряна для секты. И потому упросил начальство продлить свидание с тобой еще на сутки. Он как-то ухитрился на встречу с тобой пронести Евангелие в надежде, что «священная книга» способна воспламенить в тебе угасшее, холодное пепелище прежней веры. Суровый, неласковый и все-таки родной отец...

— Молись, дочь моя, во славу Христа!

— Отец, я больше не верю в бога!

Сгорбившийся, словно надломленный, отец поднялся с колен, по-стариковски волоча ноги, прошел от зарешеченного тюремной решеткой окна к запертой двери

без ручки — ручка совсем не нужна: дверь за тобой непременно закроют снаружи или отопрут в точно отмеренный судом срок, — прошелся и опять, грузной бескрылой птицей опустился на колени.

— Нет, ты не утратила веры Христовой, дочь, ты лишь устала от долгой неволи. Мы все будем молиться за тебя. Господь услышит наши молитвы и вернет тебя в лоно церкви!

Господь не вернул — не услышал...

И тогда ты, Мария, последний раз в жизни ты опустилась на колени и в жаркой благодарной молитве вознесла искреннюю хвалу разуму человеческому за то, что он освободил, наконец, твою душу от тяжких оков навсегда утраченной веры, даровал тебе свободу мыслить, верить и жить земными, человеческими надеждами и радостями...

Что было потом, Мария! Да, первой после свидания с отцом о своем неверии ты рассказала Тамаре Митраковой. Та ответила сдержанно: «Я рада за тебя, Мария!» Много времени спустя, Тамара призналась мне в колонии: «Радовалась... словом — как при появлении на свет нового человека. Только боялась чересчур бурной радостью испугнуть, оттолкнуть Марию».

Выпускные экзамены за одиннадцатый класс вы с Тamarой сдали успешно. Все выুবались, что не будет на выпускном вечере цветов — какие уж там цветы в лагерьной зоне... А ранним утром через желез-

ные ворота вахты прошел человек в мокрых от росы до самых колен брюках, с полной охапкой ярко-оранжевых огоньков. Это был учитель истории Валентин Николаевич Волков. Тот самый, что зимой посвятил тебе целый урок, не побоялся в открытую, перед полным классом, где за партами сидели не школьники — правонарушители — не побоялся вступить в спор с тобой — за тебя, Мария. Теперь он пришел поздравить вас всех, получивших в тот день аттестаты зрелости. Нет, не правонарушители вы были для него, для Волкова вы были учениками, которые готовились — одни раньше, другие позже с аттестатами зрелости выйти в большую и светлую жизнь. Вы не могли подарить ему в тот памятный день цветы — он подарил их вам. Он, учитель Волков, если можно так выразиться, вместе с цветами преподнес вам последний урок — урок чуткости и веры в Человека.

Прошлым летом ты сама закончила педагогический институт и впервые пришла в свой класс, к своим ученикам. Если хочешь стать настоящим учителем, постарайся, Мария, начать с веры в самое светлое в мальчишеских и девчоночьих душах. Постарайся верить им так, как в тебя верили когда-то учитель Волков, люди в форменных мундирах с погонами на плечах, теперь уже бывшая правонарушительница Митракова и многие другие, с кем свела тебя нелегкая твоя судьба.





Рудольф Лихоманов

ТАЕЖНЫЕ АКВАРЕЛИ

ПАРЛАМЕНТЕР

Хаживал я ранней весной по Томскому левобережью на фотоохоте. Иду по заснеженному еще бурелому, приглядываюсь к пробуждающимся кустам, первым проталинам. Выбрался на большую чистую поляну на солнцепеке да так и замер, про фотоаппарат забыл.

Все-то, все тонюсенькое покрывало прошлогоднего снега испещрено кандыками от светло-сиреневого до темно-фиолетового цвета с зелеными мазками листьев по голубоватому фону. Будто здесь художник свои кисти вытер после работы. А прямо у моих ног, чуть впереди остальных, стоит белый кандык! Гордым парламентаром вышел он ко мне от многочисленной цветочной рати. Не на милость мою сдаваться, а разговор вести. Мол, так и так, мы цветы вольные, цветом на радость всякому, не только для тебя.

Полюбовался я маленьким чудом да снова в бурелом двинулся, в обход поляны. В фотокамере моей цвел приветливый флажок маленького парламентаря.

БОРЕЦ

На лесной поляне, среди многоцветья, высоко подняв седую голову, вытянулся одуванчик. Вроде бы ничем не примечательное растение. Только выше всех трав и цветов. Крупная белая головка смело подставлена ветру; упругий, словно мотоциклетная спица, стебель покачивается плавно, с достоинством. Других одуванчиков на поляне я не видел. Этот был один, первый.

Видать, трудно пришлось растению в новой вотчине. Весной его угнетали соседние травы. Топтали лапами, копытами звери. Мялись зеленые листочки под тяжелой обувью человека, но добрая земля и солнце помогли переселенцу, и одуванчик выжил.

Стоит одуванчик выше всех, как борец, гордо подняв убеленную в битвах за жизнь голову. Крепко стоит, готовый в любое время продолжить святую борьбу свою за место под солнцем. Так человеку трудно порой бывает, а немного поможешь ему, и силы его утраиваются, и человек обретает себя в великом подвиге, на удивление всем и себе. Как не позавидуешь сильному духом и телом!

СОСЕДИ

Я поднялся по каменистой, похожей на сухую чешую, крутой осыпи. На самом гребне присел отдохнуть. Внизу, в огромной посудине котлована, легко ворочал шестидесятиметровую стрелу шагающий экскаватор, выскребая до хромового глянца слоеный пирог антрацита. Ковш машины скрежетал в трех метрах от меня. Разглядывая камни, я вдруг заметил ящерицу.

Большая, зеленая, с вишневыми крапинками по телу, она медленно взобралась на горячий осколочек породы. Он чуть качнулся, но не скатился с уступа, только устойчивее навалился на стебли мать-и-мачехи, как стожок сенца на подпорки. Ящерице душно от соляровой гари, нагретого камня, она часто дышит, и бледное горлышко ее пульсирует неровно, не в пример экскаватору, ведущему одну ноту. Вот стальной отполированный клык сдвинул грунт, и ящерица вместе с камешком упала в стальную пасть ковша. Два чахлах стебелька зацепились за край длинным белым корешком и повисли вниз корзиночками, словно пена с зубов доисторического чудовища.

Лязгнув над отвалом, ковш снова приблизился ко мне, и я увидел, как зеленой каплей ящерица выпала из широкого зева и юркнула в камни. С безопасного расстояния животное долго смотрело вниз. Беспокойный, непонятный стальной и жаркий сосед теперь не пугал ее, а только вызывал древнее любопытство.

СОЛДАТКА

Я знаю эту черемуху много лет. Она висела над сырой лодкой оврага, цепляясь за борт единственным крючковатым корнем. Черемуха не цвела. Ей не хватало ни живительных земных соков, ни солнечного тепла. Она зеленела единственной ветвью, из последних сил отбиваясь от сумрачного ельника.

В этот сентябрь я навесил свою знакомую. Ручей на дне оврага еле струился, а от срубленных кем-то елок было светлее. Я пробрался к дереву и не поверил себе. Морщинистой рукой ствола черемуха качала зеленую зыбку ветки, сплошь укрытую белым тюлем гроздьев. Дерево выстрелило в небо пучком зеленых побегов и повеселело, зажило новой жизнью.

Черемуха подрагивала от тяжести, соцветия колыхались, осыпая лепестки, медовый аромат кружил голову. Я подпер ствол сушиной, и дерево успокоилось, только ветка еще качалась и шелестела листвою.словно солдатка, пережив горе, вдруг снова нашла старая черемуха свое счастье через много лет и теперь любовно баюкает свое дитя, напевая давно забытые песни.

ЗАЗИМЬЕ

Давно нет устойчивой погоды: то приморозит, то оттепель вывалит из своих закровов столько пушистого и огромного снега, что только успевай грести.

Прошла в южную сторону дичь. Зайцы сменили летний наряд на белый, зимний. Полевых работ в это время нет, и у природолюбца появляется возможность уделить больше заботы и внимания для подготовки к морозам своих подопечных — зверей и птиц. По белотропью охотники-промысловики уходят в тайгу: открыт сезон на белку и ондатру, организуется облавная охота на волков.

Пусто в поле, и кажется тихо в лесу. Санная дорога накатана порядком. Возят корм для скота. Иду, и вдруг ярко-зеленым костром вспыхнул на снегу клок душистого сена. Нет зимой приятнее запаха, чем запах июльского разнотравья, сухой пряный запах ушедшего лета. Подбираю клочок и приматываю к стволу осинки, чтоб ветром не разнесло. Пусть зайцам на ужин будет.

СТАРИКИ

Мягкий снег проминается под валенками, не хрустит, как в мороз. Хотя снегу и не так много, но знакомые с лета места узнаются с трудом. На старой развесистой рябине ягоды красные-красные и сладкие. Морозец подсахарил. Сейчас хорошо брать рябину. Раскинь на снегу холст, стукни по стволу и ссыпай в мешок ягоды.

Говорят: тихий зимний лес. Но не так-то и тихо в нем. Откуда-то сверху слышу тоненький скрип, будто потихоньку дверь отворяют, потом приглушенное ворчание, старческое бормотание. Оглядываю рябину и замечаю кирпично-красный комочек. Да это же снегири! Вестник настоящей зимы! Голова в черной ермолке, на спине серый плащ с белой оторочкой. А рядом самочка. Вид у нее, правда, несколько поскромнее. Они вегетарианцы в зимнюю пору. Питаются исключительно семенами, зернами, ягодой.

Интересно наблюдать их меланхолическое состояние. Снегири на одной ветке могут сидеть очень долго. Столкнет самочка друга, тот сорвет ягоду, принесет ей и опять сидит, управляет перышки, кряхтит, ворчит себе под нос. Ну, старик со старухой и только! Птицы из-за своих забот не пугливы. Я долго стою в двух шагах от рябины, фотографирую старичков, а они на меня — ноль внимания. Весьма нелюбопытные старики.

Междуреченск

ОТ ИМЕНИ ПОКОЛЕНИЯ

(ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ПОЭЗИИ КУЗБАССОВЦЕВ-ФРОНТОВИКОВ)

В наши дни о Великой Отечественной войне пишут поэты разных поколений. Но с особым вниманием мы относимся сегодня к стихам тех, кто отразил в своем творчестве собственный опыт войны. В «кузбасской» литературе это Михаил Небогатов, Евгений Буравлев, Михаил Борисов, Владимир Мамаев. Война присутствует в их стихах и в ее прямом изображении, и в душевном опыте авторов, и в их сегодняшних нравственных позициях.

Несколько слов о жизненных судьбах поэтов фронтовой плеяды. Война застала их молодыми, некоторых совсем юными, и она, собственно, явилась первым большим делом их жизни: «Годы, проведенные на фронте, были академией моей»,—так пишет Герой Советского Союза поэт М. Борисов. Эта «академия» была жестокой и невероятно трудной — в окопах, в огне, рядом со смертью. Она проверяла все усвоенные ранее взгляды и представления, на многое заставила посмотреть по-новому и впервые. Патриотическое чувство к Родине обернулось прямой сопричастностью к всенародному горю, ненависть к врагу, представшему во всей своей страшной осязаемости, — священным чувством мести, само представление о жизни, постоянно граничащей со смертью, вобрало в себя некую переоценку ценностей. Это была не с чем не сравнимая нравственная закалка.

Вместе с тем трагический опыт войны был зачастую несоизмерим со способностью солдата осмыслить все происходящее в причин-

ных связях и закономерностях — это придет позже. В стихах той поры, если они писались будущими поэтами, выплеснулась прежде всего неизгладимость переживаний: разоренные врагом земли, бои и отступления, тоска по родному дому. Эти «окопные» стихи были, естественно, эмпиричны, неумелы, да и немногие из тех, кого мы называли выше, занимались в то время поэзией — на войне надо было воевать.

Когда окончилась война, в газетах начинают печататься стихи поэтов-фронтовиков. Идет трудный поиск своего творческого пути, разведка стиля, утверждение основных тем. На этом первом этапе неизбежны были ошибки, уход от себя и возвращение к себе, к чему прибавлялись и общие сложности внутренней жизни в стране начала 50-х годов. Все это отразилось в первых стихотворных сборниках, выпущенных Кемеровским книжным издательством: М. Небогатова — в 1952 г., Е. Буравлева — в 1956 г.

В 60-х годах эти и другие поэты обретают черты творческой самостоятельности. О кузбасских поэтах узнает и всесоюзный читатель. Дистанция времени заставила подойти к теме «Человек и война» и в историческом, и в социальном, и в философском плане, достичь принципиально важных обобщений. Но что особенно важно для поэзии — обострился интерес к личности человека на войне, его внутреннему миру.

В 70-е годы поэты-фронтовики уже могут подвести какие-то жизненные и поэтические итоги — проделанная работа и возраст да-

ют им на это право. Выходят сборники, побравшие лучшие стихи поэтов: «Работа» Е. Буравлева (ставшая последней книгой для поэта — он ушел из жизни в 1974 г.), «Спасибо сентябрю» М. Небогатова, «Тишина» В. Мамаева и др. В них — стихи разного содержания, и часто о мирной жизни написано гораздо больше, чем о войне. И это естественно. Жизнь идет своим чередом, она требует от искусства быть современным, отвечать сегодняшним проблемам, нуждам и поискам. Да и не всегда легко возвернуть память к тому самому тяжелому, что пережито, — недаром Е. Буравлев как-то сказал о себе:

Я не пишу о войне:
Я не люблю о войне.
А уж кому, как не мне,
Строчку бросить на круг?

(«Я не пишу о войне»).

И все-таки можно смело утверждать, что опыт войны остался для поэтов-фронтовиков той незабываемой памятью сердца, которая остается с человеком на всю жизнь, бросая ответ на все происходящее сегодня. В этом смысле, как некое обобщение, звучат слова М. Небогатова, который о своей военной юности сказал: «В огне, в дыму прошла моя весна», но именно эту юность он берет за точку отсчета всей своей жизни:

Немалый путь — полвека за спиной.
Река годов стремительно течет.
Уже виски искрятся сединою,
Но в жизни даль по-прежнему влечет.

Что сделал я, какие планы строю —
Наверно, время дать уже отчет...
Считаем юность лучшим порою,
С нее ведем делам своим отчет.

(«Золотая осень»).

Читая стихи о войне, ощущаешь некое целостное по своему содержанию единство, основанное на общности исходных мировоззренческих и нравственных позиций — при всем индивидуальном своеобразии каждого поэта. На этом основании и хотелось бы проследить те родственные явления, тенденции,

закономерности, которые присущи стихам кузбасских поэтов о войне в плане их нравственной проблематики.

И вот то первое, что прежде всего себя обнаруживает, — это прочность и неустанность самой памяти о войне. Чувствуешь, как много, тяжело и глубоко пережито авторами стихов, как все это не просто запомнилось, а вошло в плоть и кровь, стало так же неискоренимо в душе, как следы ранений на теле.

М. Небогатов:

Былое и грядущее — все рядом.
Одно — как скрипки чуткая струна,
Другое воеет бомбой и снарядом.

(«Золотая осень»).

В. Мамаев:

Оно в душе, в ее глубинах
Лежит, словно на дне морском.
Но вдруг взрывается, как мина,
Оно в сознании твоём...

(«Другу-однополчанину»).

М. Борисов:

О днях тех
Нелегкую память
До черточки каждой храня,
Привычная хмурая замять
Нахлынет не раз на меня.
И снова,
Как будто воочью,
Услышу, как трубы трубят,
Увижу за черною ночью
В бессмертье идущих ребят.

(«Наверно, все дело в начале...»).

Таких строк можно привести бесконечно много. И хотя следов войны остается все меньше, бывшему солдату о ней может напомнить что-то такое, что для всех других незаметно, неважно, потому что в глубине его мозга залегли бесчисленные ассоциации, связующие с войной. Стриж, со свистом прочертивший круг над рекою, вдруг напомнил М. Небогатову звук «мессершмитта», скрип наклонившейся от ветра ветлы показался В. Измайлову стоном раненого... И в этом нет никакой натяжки, а только насто-

рожденная чуткость, острая отзывчивость на все, что связано с памятью о войне.

Но эта память не пассивна. Она требовательна, она настойчиво обращается к современникам и потомкам, чтобы не забыли того, что пережито, не забыли тех известных и неизвестных солдат, которые своей жизнью заплатили за победу. Сколько тревоги и одновременно веры в историческую справедливость слышится в стихах М. Небогатова, посвященных памяти павших:

Неужто впрямь случится так когда-то —
Все порастет, как говорят, быльем,
И, кроме Неизвестного солдата,
Не вспомнят больше люди ни о ком?

Нет! И тогда, когда уже не будет
Ни матери, ни друга, ни жены,
Ни холмика —
Земля их не забудет
Под вечным солнцем, в мире тишины.

(«Вечный огонь»).

Эту мысль как бы подхватывает М. Борисов: моральное право ветерана войны позволяет ему высказать уверенность, что геронческое прошлое достойно того, чтобы быть увековеченным:

Правнукам не скинуть нас со счета,
Не забыть — голодных и усталых...
С сорок трижды памятного года
Мы уже стоим
На пьедесталах.

(«Правнукам не скинуть нас со счета...»).

Воссоздавая кровавую логику войны — неотвратимость ран и смертей человеческих, гибель всего того, что создано трудом и талантом людей, их муки и страдания — поэзия рождает глубокое чувство ненависти к войне как к страшному, кровавому, бесчеловечному акту.

Память, память, давай обогнем
Ту засаду, где ждали фашисты!..
Полыхали шесть танков огнем.
Шесть...

А в танках были танкисты.

(В. Измайлов «Шесть огней на пути к победе»).

Сколько душевной боли и скорби в стихах о погибших однополчанах, — это своего ро-

да реквиемы, ранящие душу чувством безвозвратной утраты, когда своими руками зарыл в землю того, кто все то время сражался рядом с тобой:

Я так стоял, не поднимая глаз,
От жгучего бессилья камня.
Мне память сохранила этот час,
И я склоняюсь молча перед нею.

(М. Борисов «Над Прохоровкой снова тишина»).

Образы погибших солдат, убитых на оккупированных территориях женщин, детей, стариков, горящих городов и сел — все это стало «частицей кровной обожженной в боях души» поэта (М. Борисов). В разных стихах разных поэтов сквозит одна и та же мысль о том, что ничто, даже сама победа, не может списать этих человеческих жизней, чем-то или кем-то заменить их. И в самый день победы, принесшей такую невероятную, такую долгожданную радость, эта боль была так же неутолима, а может быть, еще больней. В одном из стихов В. Мамаева есть запоминающийся образ: человек на вокзале провожает взглядом громяющие мимо эшелоны с возвращающимися солдатами, но сам-то он без ног — «как слиток скорби, горести людской». Такие образы говорят и сегодня, «какой неслыханной ценою нам всем досталась тишина» (М. Борисов).

И вот в этой-то жестокой повседневности войны советский человек проявил высочайшую силу духа. И здесь выступает другая важная тема военной лирики — **нетленность** тех **нравственных ценностей**, которые породила война. Она принесла с собой максимализм нравственных оценок, потому что в ее условиях неизмеримо повысилась сама требовательность к человеку. Речь идет не только об умении солдата выполнить приказ, а о том, способен ли он на нечто большее, когда никто не может заставить или подтолкнуть его на это. Соответственно, те человеческие слабости, которые в мирное время не влекут за собой никаких трагических последствий, на войне могут привести к гибели людей — и потому отношение к ним становится бескомпромиссным:

это трусость, слабоволие, эгоизм. Нравственный выбор на войне сопряжен с жизненным риском, и здесь вступают в действие внутренние «пружины» человеческой личности: его понятия о долге, чести, нравственном достоинстве. Все это и составляет основу стихов, воссоздающих путь к подвигу — ведь без этой темы невозможна военная поэзия.

Говорили:

«Винтики в машине...»

Но ведь мы не только по приказу
Шаг за шагом к нынешней вершине
Пробивали яростную трассу.
Видно, даже в подвиге солдатском
Есть свое, подспудное веленье
И — на Курском, и — на Сталинградском,
И — на каждом новом направлении!

(М. Борисов «Правнукам не скинуть нас со счета»).

Поэтический символ мужества создал Е. Буравлев в лице девушки-партизанки, схваченной и казненной фашистами. В этом стихотворении преклонение автора перед силой человеческого духа, перед подвигом, связанным с великими муками:

Как до предела выгнутый лук,
Готовый метнуть стрелу,
С болью заломленных за спину рук
Шла она по селу.

А в отрешенных ее глазах,
Полыхающих, как смолье,
Были не слезы, не боль и не страх —
Вера в бессмертье свое.

(«О мужестве много сказано слов...»).

Для стихов о войне очень характерна мысль о том, что в тяжелейшие эти годы советский человек сохранил стремление и способность к добру, теплу и участию в отношении к людям. Сколько строк посвящено боевому товариществу на войне, фронтовой дружбе! Она была порой в боях и походах, она сплошь и рядом заставляла идти на самопожертвование, потому что проявлялась не столько в словах, сколько в готовности заслонить друга собственным телом, поделиться последним глотком воды. М. Небогатов в стихотворении «Фронтальная дружба» показывает, как закалялась она на

прочность в огне боев: во время воздушно-го сражения сбитый советский летчик выбрасывается из горящего самолета, становясь живой мишенью для «мессершмиттов».

...но тут же друга самолет,
В крутой стремительности воя,
На помощь сбитому идет,
Берет его в кольцо живое!
Уж видит летчик колею,
И рожь, и луг, и дым над лугом.
А тот, кто спас его в бою,
Все ходит в небо — круг за кругом.

(«Фронтальная дружба»).

О фронтовой дружбе написано так много еще и потому, что она и в мирные дни остается в чем-то образцом человеческих отношений, из глубины лет подает образцы верности и преданности, умения постоять за друга и защитить его тогда, когда он больше всего в этом нуждается. М. Небогатов в цитируемом уже стихотворении пишет:

Как мы беспомощны подчас,
Хоть повидали в жизни виды...
Как не хватало нам порой,
Когда у зла мы под обстрелом,
Великой дружбы фронтовой,
Не словом выверенной —
Делом!

(«Фронтальная дружба»).

Вытопанные поля, прошитые снарядами деревья, развороченная и искореженная земля — все это отзывалось болью в человеческом сердце. И понятно, почему сама мечта о мире связывается в поэтических образах с мирным пейзажем родной страны, с возможностью любоваться сколько душе угодно красотой окружающего мира. Характерно, что и готовность бывших воинов вновь защищать, в случае надобности, свою землю сливается зачастую с образами милой сердцу природы.

И однако, что б ни перенес,
Я готов опять пойти под пули,
Лишь бы мне по добруму блеснули
Золотые поросли берез.

(М. Борисов «Обо мне сентябрьские дни...»).

Со всем этим приходит желание, чтобы на земле всегда был мир, чтобы человек

мог трудиться, радоваться жизни, быть счастливым. Для тех, кто воевал, война не кончилась в сорок пятом, она осталась ранами в их теле и болью в их душе, и за жизнь еще не раз приходилось сражаться — с самим собой, на больничной койке. И здесь придает силы лишь страстное желание довершить все начатое, доделать недоделанное, жить в полную меру труда и сил:

Жить бы так, чтоб только дни кипели,
Чтобы знать уверенно всегда,
Что в большом, во всенародном деле
Есть частичка моего труда.
И пока всех дел не переделал,
Сам себя считаю я в строю,
И бессилью, что сковало тело,
Душу я не уступлю свою!

(В. Измайлов «В трудный час»).

Вообще нельзя не радоваться тому, что, несмотря на все пережитое, герой военных стихов и сегодня молод душой, сохранив способность по-настоящему любить жизнь, трудиться, заботиться о судьбах всего мира и верить в победу добра.

Да, действительно, опыт войны стал для фронтовиков нравственной опорой личности, он породил привычку «совестью солдатской проверять свершенные дела» (М. Борисов). Как хорошо сказал поэт М. Борисов о своем поколении:

И хотя бываем суховаты —
Памятью,
 как болью,
 налиты —
Мы с тобой по-прежнему солдаты
На переднем крае доброты.

Свое особое нравственное содержание несут стихи, принадлежащие второму поколению поэтов, переживших войну — тем, кто родился незадолго до войны и помнит ее из своего детства и юности. В стихах о войне В. Баянова, В. Махалова, Г. Юрова, Г. Кравцова, В. Зубарева, А. Саулова и других без труда обнаруживается сходство тематики: голод и холод военного детства, ожидание вестей с фронта, ранняя работа... Все это могло бы показаться и однообразным, если бы не простой факт: каждый из

авторов пережил это по-своему, каждый несет след войны в собственной душе, и это само по себе требует внимания.

Каковы же те нравственные позиции, которые просматриваются при чтении этих стихов?

Прежде всего, мы увидим в них рассказ о горьком хлебе войны, о тех условиях, в которых росло и формировалось это поколение. Детство, о котором принято говорить, что оно — самая светлая, радостная и безмятежная пора в жизни человека, такого детства это поколение не знало. Оно рано повзросло, но это — повзросление, замешанное на горе и бедах, когда жизнь жестоко сокращает отпущенные природой сроки детства:

Год я этот запомнил.
Он, жуткий, неповторимый,
Нашей глухой деревне
Принес не одну беду.
Рос я тогда суровым,
Маленьким, нелюдимым.
Кончилось мое детство
В сорок втором году.

(В. Махалов «Смерть деда»).

В памяти засело неотвязное ощущение голода, нетопленного дома, недетской тоски. Первые жизненные драмы здесь связаны именно с войной. Такой, например, была драма безотцовства: в возрасте, когда отец так особенно нужен, все заменялось его ожиданием: если он был жив, и тяжелой пустотой, если приходила похоронка.

Такую мальчишескую драму воссоздал В. Баянов, рассказав, как в свои двенадцать лет он ждал отца и завидовал соседской детворе, к которой отец вернулся инвалидом, и вот со всем нерастраченным запасом сыновней любви, с тайной надеждой на тепло и участие он пошел к этому инвалиду...

Но он своим игрушкой ладил,
И забавлял их день-деньской.
Но он своих детишек гладил
Перебинтованной рукой.

И я ушел с его крылечка,
И мне туманила глаза

Текучая, как наша речка,
Совсем не детская слеза.

(«В двенадцать лет мальчишкам редко...»).

Другую мальчишечью драму описывает Г. Кравцов — когда вместо погибшего на войне отца в семью приходит другой мужчина, отношения с которым складываются нелегко и непросто, и немало переживаний происходит в мальчишеской душе, пока однажды,

Собравшись с духом, я сказал впервые:
«Пора домой... Пойдем скорее, папа...»

(«Щенок»).

Как бы обобщающий образ военного детства создал В. Баянов: по аналогии с увиденными тогда кинофильмами, которые все он смотрел только со второй части (чтобы попасть в клуб бесплатно, надо было сначала покрутить динамомашину), и в детстве его многое оказалось пропущенным, невосполнимым:

Не то теперь время, не то село.
Но думаю я очень часто,
Что в жизни и детство мое прошло
Пропущенной первой частью.

(«Мы в детстве смотрели немое кино...»).

Но, оглядываясь на пережитое, не только горе и тяготы видят авторы этих стихов, они видят и доброту человеческую, которая помогла выжить, обрести веру в людей, во все хорошее. Очень характерно выраженное во многих строках чувство благодарности к людям, желание ответить им добром. В детстве своем баяновский герой мечтает:

Дедку, что бородой белее марли,
Дров наколю, в поленищу сложу.
Болезненной и слабой тетке Марье
Весною огород загрожу.
И что-то сладко сердце мне сжимало,
Порой волшебным делом житье.
И над скупой землей меня вздымало,
Хоть я все время ощущал ее.

(«На родине»).

Это осталось на всю жизнь: готовность понять и разделить чужое горе, душевное сочувствие тем, кого обездолила война, стремление как-то помочь, облегчить беду.

Признательность людям сливается с признательностью родной земле. Может быть,

отсюда и начиналось для этих подростков чувство Родины:

Она кормила сараной,
Калину до снегов хранила.
С моей родною стороной
Еще сильнее меня сроднила.
От молодых берез светла,
Далеким

сердце мне тревожит.
Она мне выжить помогла.
Она мне дальше жить поможет.

(В. Баянов «За речкою — подать рукой...»).

Жизненные судьбы этих поэтов сложились по-разному, но во многом они сходны. Те из них, кто родом из деревни (а таких большинство), повзрослев, перебрались в город, что вполне объяснимо их духовными устремлениями. Здесь стабилизируется их трудовая биография и одновременно начинается более или менее активная работа в поэзии. В творчестве каждого постепенно определились свои интересы, темы, привязанности. Но что было пережито до этого, не может их не роднить: это не только воспоминания детства, но, что особенно важно, некое нравственное единство оценок. Соответственно, и настоящее они воспринимают в этом аспекте как-то по-своему, не так, например, как те, кто родился десятилетием позже. Весьма характерно звучат для этого поколения слова В. Зубарева:

...Да и сам я, тем бесхлебным годом
жизнь свою измерив, сознаюсь:
вспоминая пережитый голод,
испытанья сытостью боюсь.

(«Хлеб»).

Поэты послевоенного поколения пишут непосредственно и о самой войне, потому что слишком многое связывает их с ней — в строки их стихов врываются «ветра фронтовых дорог» (В. Махалов). Здесь и стремление осмыслить войну с точки зрения своего, уже значительного, жизненного опыта, и попытка поставить себя на место тех, кто воевал, мысленно пережить все пережитое ими, как бы слиться душой:

Я горд, что я в строю едином,
Что тем же воздухом дышу...

(А. Саулов «Погибшим поэтам»).

И это умение дышать одним воздухом с теми, кто прошел дорогами войны, представляется очень ценным качеством. Это «касательство» к войне во многом сближает их с поэтами-фронтовиками, проходящей нитью в зоне их нравственных позиций, нравственных уроков войны.

В нашем обзоре была сделана попытка проследить некоторые особенности стихов о Великой Отечественной войне. Целостный анализ единства содержания и формы в нашу задачу не входил, но некоторые соображения относительно способа изображения человека на войне хотелось бы высказать.

Прежде всего, во многих стихах кузбасских поэтов о войне ощущается нехватка психологизма, недостаточно глубокое проникновение во внутренний мир героев. Ведь общая победа складывалась из участия каждого, и потому в искусстве закономерно возникает необходимость изображения данного конкретного человека. Что дало ему силы перенести испытания войны? Что «срабатывало» в нем в наиболее трудные моменты: долг, дисциплина, жажда мести или что-то еще? В конце концов, в одинаковых обстоятельствах люди ведут себя по-разному, и это зависит от внутренних качеств личности. Кроме того, высокие нравственные черты не даются человеку готовыми, они вырабатываются через борьбу и преодоление самого себя. Например, мужество — вопреки инстинкту самосохранения, страха, быть может, даже трусости. Солдатами не рождаются — героями не рождаются тем более. К этому приходят через внутренних процесс в собственной душе. И это обстоятельство как раз и требует от поэта психологической «подводки» к действиям своего героя, чтобы читателю не был преподнесен только конечный результат. В. Мамаев, например, называет одно из своих стихотворений громко, торжественно — «Родине, России» и говорит в нем о погибших за Родину других солдат — «Иванах», но эти Иваны превращаются в данном случае в некие усредненные образы, и даже сама смерть их не может «ударить» по чувствам

читателя, настроить на соответствующую трагическую волну:

Не на китах, а на Иванах
Стояла и стоит она!
Как мать, к могиле безымянной
Щекой прильнула тишина.
О, сколько их, немых курганов
Понаворочала война!
А в тех курганах спят Иваны.
И матерям их не до сна.

(«Родине, России»).

Означает ли все сказанное, что каждый раз поэт должен изображать данного конкретного человека? Нет, конечно; речь идет лишь об определенности чувств и состояний, а не замене их расплывчатыми эмоциями «вообще». Пусть то будет безымянный герой, пусть это будет предельно обобщенный образ — главное, чтобы он вызывал душевную сопричастность. А это, в свою очередь, только и возможно при условии создания личности, то есть психологической разработки образа — в отличие от любой общественной науки, занимающейся проблемой «человек и война».

Во многом вредит военной лирике риторика и декларативность. Особенно это свойственно поэтам младшего поколения. А. Саулов в стихотворении, посвященном погибшим на войне солдатам, пишет:

Гордись отцами,
Юных поколение!
Им, мужественным, — наше поклонение.
Взрослели мы под маршами победными.
Мы вновь растем упрямыми побегами.
Нам небо дай.
Земля качнется палубой,
Когда ракеты тронутся в полет.
И если кто-то,
Вдруг споткнувшись, падает,
То кто-то новый, юный, в строй встает!»
(«Безымянные»).

Все это, бесспорно, правильно, но как корбит здесь громкость слова, плакатность, лозунговость стиха, ненужная высокопарность. Положение не спасает искренность самого поэта, его похвальное стремление выразить свои высокие гражданские чувства. Это тот случай (и, к сожалению, дале-

ко не единичный), когда поэтом что-то провозглашается, но не реализуется средствами самой поэзии. Впрочем, рядом с «громкостью» встречается и противоположная крайность, какое-то сюсюканье:

...Опять мне будет не до сна...
А дочка спрашивает: «Очень,
Очень сердитая война?»

(В. Мамаев «Опять февраль снега ворочает...»).

Встречается среди стихов и явление вторичности, когда в образах, в интонациях, в рифмах без труда обнаруживаешь заимствования, хотя они, может быть, и бессознательны. Не счесть, например, подражаний известному стихотворению А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»: здесь и бесконечное обыгрывание самого приема — голоса погибшего солдата, и те же самые интонации, и прямые реминисценции.

Изменяет иногда поэтам и чувство меры в стремлении передать атмосферу войны: неправомерное сгущение красок, некий искусственный нажим. Он проникает даже в изображение природы, которая перестает восприниматься эстетически. Например, такое:

Суровые дни тянулись
Солдатской длинной обмоткой,
И тихими вечерами
В крови намокал закат.
Словно большие оползни,
Опережая сводки,
К нам приплывали с запада
Простреленные облака.

(В. Махалов «Смерть деда»).

Не приходится уже специально останавливаться на тех случаях, когда стихи о войне просто плохо, ремесленно написаны, когда звучат они как холодные, штампованные фразы и ничего, кроме равнодушия и скуки, вызвать не могут. Наконец, встречается и еще один существенный недостаток

в стихах о Великой Отечественной войне — их фотографичность, неумение выйти за рамки автобиографии. Но ведь далеко не каждое воспоминание о войне должно «тянуть» за собой стихотворение — необходима прежде всего высокая содержательность и «общинтересность». Да и время заставляет не уходить от сложных вопросов, не искать облегченных решений, когда за «пячью» земли не видно тех больших человеческих проблем, которые породила война.

Вопрос о нравственных ценностях советского человека в годы Великой Отечественной войны сам по себе чрезвычайно сложен и включает, помимо рассмотренного, множество других аспектов. Взять хотя бы тот факт, что война выявила не только высокие духовные качества советских людей, но и черты противоположного свойства, которые хотя и были редким исключением, но все-таки были: трусость, холуйство перед врагом, прямое предательство. И эти явления тоже требуют своего осмысления. С другой стороны, война и сама нанесла людям нравственные увечья, оставив такие рубцы в душе человека, которых не сгладят и годы. И это тоже своя, особая область поэзии.

Стихи о Великой Отечественной войне оказывают в наши дни огромное воспитательное воздействие. Соответственно, и требования, предъявляемые к ним читателями, становятся все выше. Здесь необходимо художественное исследование все новых и новых граней, своего рода творческая дерзость. В массе стихов о войне будут жить долгой жизнью лишь те, которые отвечают духу времени. Отмечая тридцатилетие победы советского народа в Великой Отечественной войне, хочется пожелать, чтобы отношения нашей кузбасской поэзии с этим историческим прошлым превратились в активный диалог, исполненный напряжения мысли и силой чувства.



симпозиум

Пескарев встал среди ночи, принялся рыться в шкафу.

С грохотом упала жестяная банка с мормышками.

Жена перестала всхрапывать. Пескарев замер. Потом, подняв банку, на цыпочках прокрался в ванную.

Зашумела, заплескалась вода. Блесна, булькнув, упала на дно. Пескарев подергал за тонкую лесу. Блесна закружилась, заиграла.

— Подергивай! Подергивай! — лихорадочно приговаривал он. — Трави... Подсекай! Р-разиня, прошляпил!

Неожиданно Пескарев почувствовал на голой спине пронзающий взгляд. Обернулся. В дверях, полуоткрыв рот, стояла жена.

— Ты... ты на себя не похож, — выдавила она.

Пескарев мельком взглянул на себя в зеркало, поддернул трусы и тут же забыл о жене. Но жена не отступала. Заговорила ласково, как с трехлетним.

— Переутомился, миленький. Пойдем, глупенький... Какая в ванне рыбка? В ванне она не водится. Вода хлорированная.

Пескарев хихикнул и закричал:

— Подсечка! Подсечка!.. Ах, ты ж, окаянная!

Жена шархнула в сторону и затрепетала, как налим на перемете.

— Ну иду, иду, — сказал Пескарев недовольно. Подергал за леску минут пять, вздохнул и выпустил воду.

Жены на постели не было. Она заперлась в соседней комнате и ни в какую не желала выходить.

В коридоре зазвенел звонок. Пескарев выругался и крикнул:

— Кто?!

— Спички одолжи, сосед!

Не успел Пескарев дверь отпереть, как в прихожей очутились двое верзил и маленький человечек в белом халате и с белой бородой.

Примчалась жена:

— Доктор! Скажите, это очень опасно?

Маленький человечек окинул удивленного Пескарева взглядом, задержался на блесне, которую он не успел спрятать и держал на ладони.

— Очень, очень опасно! Оставьте нас одних. Лучше всего... — доктор торопливо осмотрелся, — мы закроемся в ванной. Прошу не мешать! Ему нужна срочная помощь!

Доктор втолкнул Пескарева в ванную, запер дверь и жарко прошептал:

— Где? Где вы такую достали?

Он выхватил из пескаревских рук блесну, открутил на полную мощность краны и бросил блесну в воду.

— Ме-меняю! — закричал он. — Что просите? Желаете мотылей? — он выхватил из кармана коробочку. — Мотыля сегодня мыл! Холодильник есть?

Пескарев был растроган.

— Берите за так, доктор. А еще, вот... — Пескарев вырвался из ванной, промчался мимо потерявшей лицо пескарехи, схватил свои коробки и опять заперся в ванной. — Коллега! Друг! Возьмите баночку моих опарышей. Сам вывел. Вкуснющие! Не пожалеете, доктор! Вы где обычно рыбачите?

Доктор хихихнул в кулак.

— На Лысом озере. Знаете, есть там с южной стороны обрывчик. Симпатиченький такой...

— Какая там рыба! — замахал руками Пескарев. — Пивки. Я однажды полез крючок отцеплять, так верите нет, пока барахтался, пара во-от этаких за энное место зацепилась. Еле отодрал... — Пескарев передохнул. — Я вас, доктор, поведу в другое место: караси-лапти, а окунь из лунки прыгает.

— А у меня такой случай был, — начал доктор. — Тоже вот, как ты, крючок отцеплял от коряги. Голенький залез в воду-то. Ну, совсем, вот как в ванну ложишься, так и я залез. Понырять, понырять — где там. Водяной уволок. Направился было к берегу, гляжу, а там две женщины сидят на коряжинке и за мной наблюдают. И знаете, я два часа проплавал вокруг. Плаваю так, а сам думаю: а что, если выскочить в чем есть? Вот потеха будет. Хи-хи-хи...

— А у меня был случай похлеще, — вставил Пескарев.

Так, сидя на кромке ванны, они мило беседовали. Потом в дверь забарабанили кулаком.

— Санитар, — сказал доктор. — Свой человек. Впустите...

Санитар долго разглядывал блесну, булькал ею в ванне, одобрил качество и включился в разговор. Вскоре пришлось впустить изнывающего от тоски и второго санитара.

Поплыл густой дым к вытяжной трубе. Раздался гомерический хохот.

Жена, почуяв неладное, забарабанила в дверь.

— Скажите ей что-нибудь, доктор! Покоя не даст. Такая женщина...

Доктор приоткрыл дверь и в щелочку прошептал:

— Симпозиум. Оч-чень тяжелый случай, уважаемая.

Скорая укатила под утро, забрав с собой пескаревскую жену.



33 коп.

Кемерово. 1975
